

Ольга Маркова (1963-2008) – основатель и президент общественного фонда развития культуры и гуманитарных наук «Мусагет», литературовед, писатель, главный редактор журнала «Аполлинарий», инициатор многих литературных и культурных проектов в Казахстане. С 1999 по 2008 годы руководила единственными в Казахстане литературными курсами для начинающих писателей.

«Ольга Борисовна создала то, что оказалось не под силу могущественному министерству культуры Казахстана, – новую литературную волну. Казахские прозаики, поэты, журналисты, критики, редакторы, драматурги – своими достижениями во многом обязаны той вере в себя, которая была заложена в них стараниями Ольги Марковой».

Макс Величко, Gazeta.kz



КОЛЬЦА ВРЕМЕНИ

Ольга Марк

Ольга Марк

КОЛЬЦА  
ВРЕМЕНИ



**Ольга Марк**

# **Кольца времени**

**Алматы**

**ОЛША**

**2023**

УДК 821 (574)  
ББК 84 (5Каз-Рус)  
М26

**Редактор:** Селина Тайсенгирова  
**Корректор:** Ирина Гумыркина  
**Художник:** Артём Калюжный

**М** Ольга Марк. — Алматы: Общественное Объединение «Открытая литературная школа Алматы», 2023. — 224 с.

*Лидия Петровна Маркова благодарит Лейлу Айтмуханову и Открытую литературную школу Алматы за поддержку и возможность публикации этой книги.*

**ISBN 978-601-06-9016-5**

«Кольца времени» — книга, в которую вошли ранее не публиковавшиеся произведения казахстанской писательницы и руководителя Общественного Фонда «Мусaget» Ольги Борисовны Марковой. Сборник включает в себя прозу, драматургию, эссе и публицистические статьи автора. Рассчитана на широкий круг читателей.

**УДК 821 (574)**  
**ББК 84 (5Каз-Рус)**

**ISBN 978-601-06-9016-5**

**© Марк О., 2023**

# Содержание

От редактора .....4

## Проза

Август .....6

Пятка.....9

Александрия.....10

Плен вечности.....29

Фигляр.....35

Душа и тело .....66

Закрытая планета .....68

Привидение .....76

Рыбалка .....86

Не будь гадом!.....87

Страшные сказки на ночь.....91

Разум .....106

Аромат иллюзий.....115

Фотография .....119

Голос.....126

## Драматургия

Ведьма .....141

## Публицистика

Погост.....157

Ренессанс грядёт?..164

## Эссе

Город .....170

Письмо. Невыносимость.....177

Кольца времени.....184

Тоска по собаке .....195

О-ля-ля! .....199

Бочка диогена .....213

Развилка .....219



## От редактора

Ольга Маркова вряд ли могла представить собранные в этой книге произведения под одной обложкой. В настоящий сборник вошли тексты, которые писательница не успела подготовить к публикации при жизни. На первый взгляд представляемые здесь неопубликованные работы Ольги Борисовны трудно сложить в единое целое: неоконченные черновики рядом с полноценной художественной прозой, эссе о прошлом и настоящем, страшные сказки и пьеса по мотивам сказки о Бабе-Яге.

Однако личность Ольги Марковой, её мысли и отношение к окружающему миру образуют связующие нити, которые, проходя через каждое произведение, превращают сборник в единое полотно. Совершенно естественным образом проза переходит в драму, драма в публицистику, а публицистика – в подборку эссе с размышлениями автора.

Вдумчивый голос автора рассказывает нам о жизни и творчестве; о том, с каким удивительным жизнелюбием росток чуда может пробиваться сквозь толщу маленьких и больших трагедий, происходящих в жизни человека; о загадочном подсознательном, таинстве смерти, и о том, как это таинство принять. И вот рассказ о желанной Александрии удивительным образом перекликается с совершенно отличным по теме и структуре эссе «Погост»

о традициях захоронения тел у разных народов. И словно ответом на незадаанные вопросы становится рассказ «Голос», естественно и правдоподобно описывающий состояние души после оставления тела.

Еще одной сквозной нитью через многие произведения книги проходит тема психического расстройства. Но в текстах Ольги Марковой душевная болезнь – это не медицинский диагноз, а сомнения человека в себе настоящем, попытки принять или отвергнуть свою истинную сущность. Автор сталкивает в своих историях иллюзии и реальность, давая читателю возможность самому решить: так ли реальна реальность, и так ли иллюзорны иллюзии, и что из них в конце концов окажется настоящим? Хотя для самой Ольги Борисовны ответ очевиден:

*«Но была ли она права? Быть может, лучше знать слушателям сказок и творцам иллюзий?»*

*Иллюзий, которые утешают, раздражают, поражают, освобождают, уводят в мир грёз, волшебную страну вымысла – даже тогда, когда пуст желудок и нет ничего в кармане».*

Размышления о смерти и творчестве связаны, время безжалостно сметает всё материальное, включая наши тела. Но если образ человека хранится в нашей памяти, значит, он жив, и живо всё, что с ним связано, даже, казалось бы, совсем незначительные мелочи.

Так и в творчестве: если живут произведения автора, если его читают и при прочтении проявляется личность автора – значит, автор жив. Такой я увидела Ольгу Борисовну: живой, настоящей и даже чувственной. И пусть она остается такой всегда.

*Селина Тайсенгирова*

## АВГУСТ

Пожухлые листья покрывали тропинку, а был лишь август, только август, и в самом разгаре, когда ещё далеко до осени, но её первые признаки появились во всём — уже проглянула усталость: и в поникшей траве, и в блеске летящих по ветру паутинок, и в суетливом оживлении птиц, и в глубине посиневшего неба.

Трудно быть королевой без короны и скипетра, без мантии и свиты, без заговоров за спиной и непрерывной угрозы поднятия головы на необозримую высоту пики. Трудно быть королевой, когда туго пульсирует в жилах кровь многоликих предков, из коих лишь про некоторых известно, что были они из весьма невысоких сословий, а все остальные сокрыты тёмной завесой времён беспмятства. И не появится рядом мрачный соблазнитель, изобретатель телесных красок, чтобы сообщить, что в шестнадцатом или ином, ещё дальнем веке среди предков была особа августейшая, и потому, несмотря на разведённость, гомеопатическую дозу, ты всё же королевской крови, и в каждом движении проступает порода.

«Ну почему бы не помечтать, почему не представить», — оправдывала себя Елизавета Петровна, имя которой — и уж это никто оспорить не мог, — несомненно, было полно скрытого значения и достоинства.

Она уже почти прошла парк, завернула в который на полчаса, чтобы оттянуть непременно встречу с



домом, мужем и бытом, представляя себе иную жизнь, как делала всегда, посмотрев красивый фильм или прочитав книгу.

— Вы напрасно так пессимистичны, мадам, — сказал ей поднявшийся со скамьи оборванный бомж с невероятно большой сумкой, в которой, должно быть, носил все свои пожитки, любой закуток мгновенно превращавшие в дом.

Елизавета Петровна отшатнулась: при всём человеколюбию и милосердию, не только умозрительных, но и вполне конкретных, проявляющихся в добрых делах и жертвованиях, она не рисковала разговаривать, а тем более входить в отношения с людьми определённого социального слоя.

— Не бойтесь, — успокоительно протянул руку бомж, добившись, впрочем, совершенно обратного эффекта, — я просто хочу вас утешить: всё не так уж и плохо.

— Почему вы решили, что плохо? — вдруг ответила Елизавета Петровна и тут же укорила себя за это.

— Конечно, не плохо! — воодушевился бомж. — Всё даже очень хорошо! Вам только нужно не сюда, а свернуть налево, вон на ту извилистую дорожку, в конце которой вы получите всё, что пожелаете, уж вы-то этого достойны!

Елизавета Петровна понимала, что ситуация абсурдна, что речь бомжа неестественна, что это, скорее всего, розыгрыш, что скрытая камера за кустом фиксирует каждый её жест, что глупо, глупо останавливаться, задерживаться, что надо скорее домой, но почему-то вдруг послушно повернула на указанную тропинку и быстро зашагала по ней в непонятной решимости немедленно закончить эту странную историю.

В конце недлинной дорожки оказалась лотерейная будочка, у которой толпилось человек десять, немного нервных и озабоченных.

Елизавета Петровна подошла, спросила бодро:

— Что разыгрывают? Или продают что?

Человек в будочке, молодой и улыбочивый, из неприметной армии одинаково одетых офисных мальчиков, улыбнулся и пояснил:

— Небольшой социологический опрос, всем участникам — подарок. Очень немаленький подарок.

Елизавета Петровна поняла, что втянулась в какой-то лохотрон, хотела немедленно уйти, но передумала и уточнила:

— Опрос о чём?

— Проходите без очереди! — заговорщически шепнул ей молодой человек. — Всего один вопрос: кем бы вы хотели стать, если бы всё было возможно?

— Королевой, — вдруг неожиданно для себя откровенно лягнула Елизавета Петровна.

Очередь заулыбалась, молодой человек поклонился:

— Спасибо, мы учтём ваше мнение. И не смею больше задерживать. Ваш подарок! — Он протянул ей маленькую коробочку, какой-то сувенирчик.

Елизавета Петровна взяла, побрела обратно, укоряя себя, но уже с любопытством разворачивая обёртку, почему-то радуясь неожиданному подарку.

Она с трудом открыла тугую крышку коробочки и увидела там колоду карт, всего лишь колоду карт! В карты Елизавета Петровна не играла никогда, потому в раздражении кинула их на землю, они разлетелись, рассыпались у её ног. Елизавета Петровна споткнулась, увидев вдруг на упавшей рубашкой вниз карте червовую королеву, в короне, со скипетром и жезлом, с мантией на плечах, но без лица.

Её ничем не примечательное имя, в котором, и с этим невозможно не согласиться, всё же было и определённое значение, и достоинство, ещё в течение нескольких лет значилось в бесконечном списке исчезнувших в нашем городе. Даже не имея и капли королевской крови, можно иногда обрести мантию и корону.

## ПЯТКА

Голая грязная пятка выглядывала из-под старого пледа.

Человек, спящий на скамейке, укрылся с головой, и пятка его, возможно, по этой причине вызвала у Тани неодолимое желание. Она прошла мимо, потом вернулась, постояла немного, подняла с земли прутик и пощекотала пятку. Пятка немедленно спряталась, а с другой стороны показалось заспанное недовольное лицо. Таня смутилась. Она не знала, что делать дальше: быстро уйти или что-то сказать. Может быть, даже извиниться.

— Чего надо? — сказал проснувшийся, вернее, так перевела его длинную и многоцветную фразу Таня.

Уходить было поздно. Таня просто пожала плечами. Ей стало вдруг зябко от страха.

Проснувшийся долго и смачно зевнул и снова укрылся с головой. Ничего не случилось. Почти сразу раздался хриплый, нездоровый храп. И появилась из-под ветоши голая пятка.

Таня повертела в руках прутик, преодолела искушение и пошла дальше.

Как и большинство из нас.



## АЛЕКСАНДРИЯ

Сразу за зданием санатория начиналась сосновая роща — искусственные строгие ряды высаженных деревьев, между которыми тянулись широкие асфальтированные дорожки. Уместнее были бы здесь тропинки: узкие, извилистые, посыпанные песком или просто из утрамбованной земли. Сосны, высокие, метров по сорок-пятьдесят каждая, все почти одной высоты, потому что были высажены в одну неделю, все, за редким исключением, ровные и прямые, стояли словно застывшие исполины в строю. Не было ни подлеска, ни кустарников, лишь скудная трава, заглушённая прошлогодними иглами.

Крупная франтоватая сорока прыгала по земле, выискивая какую-то еду, нервно подрагивала хвостом, поднимала аккуратную чёрную головку, что-то громко говорила на своём сорочьем языке.

Александр всегда со странным, смешанным чувством смотрел на искусственную, плохо продуманную парковую архитектуру. При административных и прочих официальных зданиях часто разбивали такие парки, похожие на улицы с домами и дорогами для машин. Садово-парковый дизайн был неведом таким местам, парк воспринимался просто как некое упорядочение деревьев.

В красоте и тишине деревьев, вносящих в воздух, в пространство, в души человеческие ощущение жизни и

гармонии, даже при столь искусственной планировке, тем не менее таилась какая-то тревога, ожидание грядущей утраты.

В парке должна быть иллюзия преемственности, продолжение пребывания, если не в вечности, то хотя бы во времени, более протяжённом, чем одна жизнь.

Александр неспешно шёл по аллее, и ему казалось, что его жизнь, подобно искусственному парку, при всей аккуратности и ухоженности лишена даже иллюзии продолжения. В мгновения душевных кризисов появляется желание безрассудных поступков. Прогуливаясь по аллеям парка, Александр в который раз вполне серьёзно обдумывал возможность поездки в Александрию.

Впервые Александрия приснилась ему годы назад. Из смуты сна выплыли вдруг шпили и башни, полукруглые окна, мощённые булыжником мостовые. Город без травы и деревьев, город-сказка, иллюзия, мираж...

Во сне он бродил по улицам, заглушающим звуки шагов и голоса, словно в самом воздухе таилась немота, по городу, в котором не было людей и животных, в котором не пели птицы, в котором он был один, но не испытывал одиночества. Каждое здание казалось тайной, за каждой дверью ждала ещё неизвестная радость. Он гулял по улицам и думал, что сегодня будет только смотреть, только радовать глаз, ни к чему не прикасаясь и ни до чего не дотрагиваясь. А потом как-нибудь откроет двери домов и дворцов, пройдёт по комнатам, заглянет в залы и кладовые, увидит тысячи искусно сделанных вещей: высокие подсвечники, драгоценные чаши, прошедшее бои оружие; рассмотрит переливы сотен отрезков ткани, привезённых со всех сторон света, переберёт по одной собрание камней, рассмотрит каждую деталь волшебного города. А за стенами ещё скрываются огороженные, запертые в каменных мешках сады — они тоже ждут его, манят листвою и прохладой искусственных водоёмов. Александр шёл по городу и думал о своих буду-

щих странствиях, шёл, пока не проснулся, легко выйдя из сна, и некоторое время, невольно улыбаясь, не понимал, куда делся прекрасный город.

Но отвратительная реальность, а после его сна она могла быть только отвратительной, быстро напомнила о себе, и всё бы закончилось этим воспоминанием, если бы Александрия не стала преследовать его снова и снова. Столь длинный и чёткий сон уже не повторялся, но в обрывках других сновидений, в предутреннем бреде мелькали очертания шпилей и башен, на улицах своего города Александр боковым зрением иногда, казалось, улавливал вдруг незнакомый, но родной орнамент на стене дома, вздрагивал от изгиба грязной, покрытой провалившимся асфальтом улочки, который казался повторением совсем другого пути, пройденного им во сне.

Александрия превратилась в наваждение. Она преследовала его на страницах книг, на экране телевизора, в обрывках разговоров случайных знакомых, даже в собственном имени.

Однажды Александр взял лист бумаги и попробовал, составляя незамысловатую схему, записать на нём все случаи встречи с этим городом. Писал в обратном порядке, двигаясь от настоящего к прошлому, отлавливая из капризной памяти все упоминания об Александрии. Возможно, самым ранним можно назвать случай десятилетней давности, когда ему попала в руки книга «Древнейшие цивилизации мира». Нет, неверно, по логике вещей ещё в школе в каком-то классе по курсу истории город должен был появиться. Но здесь память молчала, отказываясь извлекать из своих кладовых пыль школьных знаний, и этот пункт, названный «Урок в школе», Александр пометил вопросом.

Из школьных лет Александру остался другой, куда более явственный след. Лет в шестнадцать он серьёзно размышлял над двумя нехитрыми вариантами судьбы, ибо все другие казались ему совершенно безнадёжными,



и он искренне полагал, что нет выбора более чем между двумя одинаково пугающими вариантами: сбжать из дома и, найдя единственное применение своей инаковости, стать бомжом или покончить жизнь самоубийством. Вместо этого услужливая судьба подала ему в руки большой красный том неведомого поэта, творившего в начале XX века, обделённого долгие десятилетия вниманием школ и вузов, а теперь вдруг снова ставшего модным. В его многостройных, певучих строках впервые отчётливо и ясно, быть может, даже более материально, чем тысячи лет назад, предстала Александрия — город-песня, город-поэзия, заморожила, очаровала, стала Меккой воспоминаний.

Случайный грех, постыдные встречи, мучительная, болезненная слабость, ночные раскаивания в родном доме, обещания самому себе больше никогда и ни за что, панический страх, что узнают родители, физический ужас, что узнают одноклассники, абсолютная безнадёжность, ощущение духовной и физиологической прокажённости — всё вдруг померкло перед этой поэтической сказкой. Александрия вставала из пепла, развалин и грязи, всему передавая свою светоносность, всё превращая в поэзию.

Тогда она подарила ему мужество, тогда позволила пережить несколько очень неприятных лет, но прежде всего Александрия была поэзией, волшебной призмой, сквозь которую можно преломить и изменить мир вокруг. Теперь же город возник почти как реальность — реальный настолько, что порою Александр сомневался в материальности собственного настоящего. На мгновение он даже усомнился и в собственном рассудке, нашёл несколько книжек (от научно-популярных до двухтомного словаря психиатрии), внимательно читал то длинные и нудные, то слишком краткие и мало что говорящие описания душевных расстройств и болезней. Уже почти готовый признать себя сумасшедшим, склонным к галлюцинациям (с любым набором объясняющих факторов, от

генетической предрасположенности до сексуальной неудовлетворённости), Александр с раздражением обнаружил, что при всём великом перечне душевных аномалий, при всех классификациях умственных болезней самым неверным, неопределённым, практически отсутствующим в психиатрии является понятие собственно нормы.

Сначала Александр попытался сам вычленив составляющие нормальности компоненты. И обнаружил, что определяет норму методом отрицания: норма — это когда не... то, что оставалось после многочисленных минусований, более походило на пустоту, дыру от понятия, небытие. И тогда Александр решил отказаться от нормы как от некоей невозможности, поступить так же, как сделал он когда-то и по отношению к собственной жизни и личности: не думать о себе, не рефлексировать, не сравнивать, не сопоставлять, не примерять к шкале общепринятых ценностей, а принять без размышлений, без осуждений или восхвалений. Как ранние заморозки или дождь после долгой засухи.

Он согласился с присутствием Александрии, с её метами и приметам в обыденной жизни. Теперь он знал, что на рынке ему непременно встретится неизвестно каким образом попавшая в торговые ряды ткань с непривычным, напоминающим древние письмена рисунком; что в любом книжном магазине на полке его обязательно ждёт какая-нибудь новая книга, в которой есть если не глава, то хотя бы строчка или слово об Александрии; что город подстерегает его во всех проявлениях жизни, в снах и яви, в музыке и словах, город постепенно вытесняет его реальность; и, если однажды вместо асфальта под ногами окажется обтёсанный булыжник, а вокруг проявятся причудливые, покрытые орнаментом здания, он не удивится.

Александр несколько раз пробовал поделиться своей Александрией с другом, но оказалось, что город претендует на абсолютную верность, город не понимаем и

не воспринимаем никем иным, для всех он лишь сказка, история, поэтический образ, которым можно восхищаться, но в котором нельзя жить. И потому для себя одного теперь хранил Александр свой город, не говоря о нём, как не говорят о том месте, где живёшь. И Александрия отвечала верностью. Это были взаимные чувства, в которых город всё чаще был с Александром, а Александр преданно узнавал его знаки. Вот и сейчас в упорядоченности санаторного парка он легко угадывал скрытую кривизну, естественность знойных строений, игру каменных плит, сложивших узор городских стен.

Когда Александру было лет восемнадцать, им овладела странная болезнь. Неожиданные приливы температуры и сильной головной боли, мучившие его часами, могли настичь в любой день и в любое время. Напуганные родители водили его по врачам, показывая сначала в поликлинике, а потом всевозможным медицинским светилам. Но ни специалисты, ни сложные приборы не находили никаких отклонений — все они констатировали его абсолютное здоровье, полную гармонию таинственной работы внутренних органов. Но непонятная болезнь продолжалась, вынуждая его отказываться от многих увеселений возраста, а измученная мать, наслушавшись тёмного шёпота знакомых и сослуживцев, то ставила за его здоровье свечки в храме, то ходила снимать порчу к каким-то колдуньям.

Во время приступов головной боли, когда незримые кинжалы физического страдания втыкались в виски и было больно поворачивать голову, открывать глаза, смотреть, когда резко учащался пульс и волна жара подступала к голове, когда сознание начинало странно мерцать, словно раздумывая на перекрёстке между бытием и небытием, всплывала вдруг в отдалении, манила прохладой фонтанов Александрия. В эти мгновения Александру казалось, что город совсем близко, что достаточно малейшего усилия, достаточно всего лишь решения — и он

мог бы оказаться там, на мощённых булыжником мостовых. Соблазн безумия, соблазн почти непреодолимый. Разум — птица в клетке. Её легко выпустить, но вряд ли можно заманить назад. Александр боялся открыть дверцу — этот страх прививался человеку многими поколениями, — боялся и жалел об этом.

Александрия подступала совсем близко, убаюкивала, обволакивала собою — температура спадала, вместе с нею уходила головная боль.

По прошествии нескольких лет болезнь уже не казалась Александру столь загадочной. Отказ от себя всегда болезнен, смертельно опасен. Пока он не сделал осознанный выбор, пока не перестал терзать себя — до тех пор и болел. Но именно в то время Александрия подступала как никогда близко.

Достаточно поздно, лет в двадцать, Александр начал сочинять музыку. Замысловатые призрачные мелодии, которые он мало кому проигрывал, да и сам для себя считал лишь способом времяпрепровождения. Но у его извлекаемых из синтезатора звуков вдруг появился поклонник. Он был на пять лет старше Александра, известный спортивный комментатор, — несмотря на свою молодость, один из кумиров молодёжи города. Образованный, остроумный, элегантный, экстравагантный, он казался Александру недостижимым идеалом. Но этот идеал вдруг стал неотступно следовать за Александром, смотреть на него обожающими глазами, объявлять гениальным каждое его произведение. Поклонник — преискушающая сила. Сначала Александра даже смущало столь открытое обожание. Постепенно он к нему привык, как и привык к откровенному сиянию взирающих на него глаз спортивного кумира.

Постепенно для Александра это поклонение стало даже необходимым — постоянное одобрение всего сотворённого, чья-то уверенность в твоей гениальности. Хотя была и досадная сторона обожания: если знаешь,

что от тебя терпеливо ждут чего-то великого, весьма опасно тайное сомнение в собственной силе — тогда чувствуешь себя обманщиком, предателем, идолом вместо Бога.

Александр создавал странные, нервные, нежные мелодии, извлекая из синтетических звуков чистоту и пластику голосов природы. Невидимая флейта присутствовала почти во всех его сочинениях. Он любил её напевность, призывный голос, её готовность вызвать из чаши сознания нимфу или Пана.

В двадцать один год Александр написал «Вакханалию». Но в этой музыкальной пьесе не было ожидаемого порыва безудержной страсти, неистовства, напротив, неспешная музыкальная тема повторялась в течение тридцати минут, меняясь на один тон, — бесконечно красивая, журчащая, вьющаяся музыка. Она уносила в полудрёму, в полуявь, успокаивала, убаюкивала, зачаровывала. В ней была лёгкая дрожь ожидания вместо ярости свершения, умиротворённость гармонии вместо хаоса, свобода вместо порыва.

Для Александра его сочинение казалось ему самому подслушанным на беззвучных улицах Александрии, улицах, лишённых людей. «Да, — сказал его друг и поклонник, противореча всем профессиональным музыкантам, к которым рискнул обратиться Александр, — это действительно "Вакханалия". После этой музыки она неизбежна. Всё равно что настроить струны перед концертом». Он оказался прав, на этот раз он угадал верно.

Занимаясь модным ныне психосоаноализом, Александр обнаружил, что ему необходима постоянная подпитка извне, чьи-то поддержка и одобрение. Он был явно лианой, а не дубом, он нуждался в опоре.

Для этой жизни у него был друг, для всех других ситуаций оставалась Александрия.

Когда в одно мгновение, в действительности длившееся более года, всё изменилось, — всё, даже простран-

ство вокруг, когда стремление немедленно закончить с неустроенностью жизни вытолкнуло его, как и многих, за границы той географической местности, которую он привык называть родиной, ему сначала всё показалось сном, происходящей не с ним сказкой. Конечно, он уехал вместе с другом, конечно, его снова поддерживали обожающие глаза. Но декорации вокруг изменились совершенно, и сновали рядом незнакомые статисты. Теперь он жил в стране, гордо называющей себя плавильным котлом, и это невольно вызывало в его памяти — из чуждого здешним местам культурного пласта — воспоминания о запущенных новых домнах и репортажи о сталеварах, прячущих под железными масками потные красные лица.

Первый год они смотрели, слушали, пока не устали удивляться, пока не научились безошибочно выбирать в магазине нужную коробочку из тысячи других, пока не привыкли без натуги говорить на чужом языке даже во сне. Сначала это было путешествие, экзотическое приключение двух друзей в далёкой стране, и всё оставалось между ними согласно уже заведённым правилам: Александр жил размеренно и спокойно, вяло искал работу по совершенно ненужной здесь специальности, сочинял музыку и проигрывал её другу, который отчаянно цеплялся за здешние устои, где-то подрабатывал, что-то добывал, всегда снабжал Александра деньгами и неизменно восхищался его музыкой.

Но однажды всё изменилось: бог случая обратил к Александру свой благосклонный взгляд, и из никому не известного эмигранта он превратился в модного, элитарного автора в богеме с определённым направлением. Его призрачные мелодии совпали со всеобщим увлечением мистикой, принятыми теперь повсюду беседами об изменённом сознании, возведении маргинальности в культ с физическими и духовными отношениями. Неожиданно Александр оказался в центре внимания, стал если не знаменит, то популярен. У него появились деньги и



многочисленные поклонницы. Его новая, совсем недавно сложная и чуждая жизнь стала вдруг приятной, комфортной, разнообразной, как услужливая служанка перед господином. И Александр спешно пробовал предлагаемые лакомства, торопился испытать новые ощущения. Гадкий утёнок почувствовал себя лебедем, не уставая любоваться на собственное отражение в воде.

В его музыке, ранее не ориентированной ни на кого, кроме себя да ещё, может быть, друга, появились вдруг новые, непривычные мелодии, которые друг назвал популярными. Он вообще считал, что Александр совершает предательство собственной души. Что его слава тлетворна для его творчества, что настоящее искусство в принципе не может быть торгом. «Это твоё советское воспитание просыпается», — отмахивался Александр. В слегка медлительное течение его мелодии вплелись дёрганные линии ночных улиц, всё чаще в них появлялась подчёркнутая страстность, гипертрофированная ярость чувств. Мистериальная вакханалия духа вытеснялась вакханалией тела.

Александр работал помногу, он заимел собственного агента, заключил ряд контрактов. Если раньше каждые сутки были спокойной сменой света, сумерек, темноты, и завтрак был завтраком, и ужин был ужином, и беседа — беседой, то теперь ритм его жизни стал столь же нервным и дёрганным, как новый стиль его музыки. Он жил по расписанию, составляемому не им, а секретарём, он всё время должен был спешить куда-то, всё подчинять регламенту, созданному внешними обстоятельствами и обязательствами. Он выкраивал время для сочинения, каждый раз словно крадя часы у кого-то. Нужные, полезные и необходимые знакомства вытесняли из его жизни всех остальных людей. А его популярность манила к нему, как огонёк мотыльков, всё новых поклонников, приятелей, влюблённых.

К привычной пище были предложены острые приправы, заморские пряности. Жизнь обнаружила неисчерпаемое количество оттенков. Александр увлёкся дегустацией новых блюд, пока не стали притупляться вкусовые рецепторы, пока не стал забываться сам вкус. «Я могу делить тебя только с твоей музыкой. Не с этой, а с той, что была когда-то», — сказал ему на прощание его друг. Друг уехал сначала в другой штат, а потом, по слухам, ибо точная связь оборвалась, в какую-то латиноамериканскую страну, грезящую футболом. С месяц Александр попивал со своим горем, потом позабыл, увлечённый потоком повседневности, иногда он вообще не помнил о другом ритме и другом по сути существовании, как не помнил и о вдруг померкшем образе города из сна и яви — Александрии.

Александрия отступила на время, спряталась за занавеску существования, ускользнула от суеты и пустословия. Лишь изредка она напоминала о себе во хмелю и дурмане лоскутками воспоминаний, проблесками видений. Заставляя порою Александрию едва ли не силою проявиться в сознании, Александр всё чаще думал о городе как о мучительной, но сладостной болезни, которая миновала, исчезла, оставив лишь ноющие отголоски.

Когда (в какое именно время, после какого дня или слова) всё снова стало меняться: популярность стремительно пошла под уклон, публика охладела, а элитарность превратилась едва ли не в массовость, — Александр не заметил. Но во всём уже чувствовался спад: его доходы, приятели, поклонники резко сократились, а в музыке всё чаще стали появляться откровенные повторы, признаки заезженности.

Сначала ему казалось, что мир вокруг предаёт его, перестаёт понимать. А значит, и принимать. Это вызывало негодование, нервные срывы, истерики. Но потом он обнаружил, что это лишь незначительные неприятности рядом с более страшным: похоже, он разучился писать

музыку. Из его мелодий ушла зыбкая тайна, ощущение прекрасной недоговорённости всего сущего. Теперь всё чаще звуки были подобиями и повторами, суррогатом мелодий вместо оригинала.

Его агент посоветовал ему не паниковать, а отдохнуть. Александр действительно хотел отдохнуть, подалее от всех знакомых лиц, всех обязанностей и договорённостей. Он знал о золотом правиле: никогда не возвращаться туда, откуда уехал. Но это было единственное место, где, как ему казалось, к нему могла вернуться Александрия.

Он поехал в свою родную страну, где не был уже несколько лет, но, миновав старых знакомых и родных, поселился в запущенном пригородном санатории, в котором, кроме него, отдыхало ещё человек двадцать — двадцать пять. Люди состоятельные стремились уехать на отдых в иные страны или замечательной красоты здешние места, что находились как можно дальше от города. Совсем немногие любители подобного отдыха выбирали для скучного времяпрепровождения этот санаторий.

Александр вёл медленный, полусонный образ жизни курортника, ел и спал по расписанию, днём много гулял. Он надеялся, что родной воздух, родная земля, отсутствие суеты, поклонников, журналистов, добрых и недобрых критиков помогут ему вернуть былую способность вылавливать из окружающего марева тонкие, ускользающие, неверные мелодии несуществующего города.

Александрия действительно вернулась к нему: её пространство медленно стало вытеснять безыскусные санаторные приметы, город снова снился, город грезился, но он был тих и пуст, в нём Александр не слышал музыки.

Неприметность — одно из самых обманчивых благ. Александр понимал, что его псевдоотшельничество продлится недолго — от силы дней двадцать. Это словно занавес перед началом спектакля, подготовка к тор-

жественному явлению на сцене, для которого не хватало лишь одного — музыки.

Пытаясь не лукавить сам с собою, Александр хорошо понимал двоякость своего нынешнего стремления к обретению былого вдохновения. Когда-то ему была нужна лишь музыка сама по себе, музыка в чистом виде, музыка, не требующая слушателя. Теперь же ему было этого мало. Музыка превратилась лишь в средство самореализации, самоосуществления, построения жизни во вполне конкретном обществе. Пережив дорогу от отверженности и изгнанничества до признания и славы, Александр боялся вновь оказаться в начале пути. Время подготовило ловушку, в которую попадают все люди. Время объявляло вдруг через своих эмиссаров — первую седину, морщинки у глаз, едва заметную усталость при подъёме по лестнице, — что все планы и надежды могут не осуществиться по одной достаточно простой и тривиальной причине: на них не останется его, времени.

Среди парковых посадок Александр обнаружил небрежно оставленный садовниками пень срубленного дерева: сантиметров шестьдесят высотой, широкий в обхвате, ещё крепкий, не подпорченный гнилью, он стоял между двух сосен, образуя пробел между ними, стоял, будто в недоумении пытался увидеть над собою тяжёлую густую крону. Александр стал ежедневно приходить на это место. Пень он, как и многие другие отдыхающие, пренебрегающие скамейкой, использовал для сиденья.

Однажды к нему подошла женщина — одна из здешних отдыхающих. Он не раз видел её в столовой, но, не имея желаний с кем-либо заводить знакомства, разговаривать или слушать, имени её не знал.

«Я вас узнала, — фраза, произнесённая этой женщиной, с утомительным однообразием повторялась изо дня в день уже много лет, — вы композитор». Она назвала его имя и, улыбаясь, стояла рядом, ожидая, должно

быть, довольную улыбку, снисходительного кивка заезжей звезды.

Александр вежливо и отстранённо улыбнулся, намереваясь тут же уйти. Но женщина совершенно неожиданно повела себя нестандартно: не попросила автограф, не выразила восхищения его музыкой, не сказала, напротив, чего-то колкого и неприятного. Она стала говорить о деревьях и пропитанном хвоей воздухе, о туманной дымке над горами поутру и прозрачной ясности вечера, об облаках, изредка появляющихся на небе, — она точно, образно, ясно складывала перед ним сложную мозаику своего восприятия мира вокруг. У неё был странный, высокий, с едва заметной трещинкой, но не хрипловатый голос, со скрытыми руладами, придающими неизъяснимое очарование.

«Сейчас нет людей с такими голосами, — подумал Александр, — но такой голос вполне мог быть Александрии».

В последующие дни Александр часто гулял по аллеям парка в сопровождении этой женщины с коротким именем Алла. Они говорили о природе, о виденных фильмах и прочитанных книгах, иногда — о людях, но чаще — о своих чувствах и впечатлениях. Она обладала даром богатой, красивой и логичной речи, интуитивно угаданной интонацией, благодаря которой, да ещё свойствам голоса, её речь походила на причудливую, сложно выстроенную мелодию, — Александр получал эстетическое удовольствие от её голоса. Было в ней что-то совершенно несуетное, несовременное. Что-то пришедшее из древности. Александру трудно было воспринимать Аллу как одну из женщин его времени и его мира: она была больше похожа на грёзу, выдумку, иллюзию терзавшего его города. Странно, но она больше ни разу не вспоминала о его музыке. Сначала Александру это нравилось, его добровольное затворничество казалось нерушимым. Но

постепенно в её молчании, которое сначала принималось за тактичность, ему стало чудиться небрежение к его творчеству, неприятие его дара.

Наступил час, когда Александр сам завёл разговор о своём творчестве, но она уклонилась от разговора.

После этого Александр потерял способность получать чистое удовольствие от их бесед. Он стал испытывать едва заметное раздражение при разговоре с нею. Ощущение брошенности и никчёмности, появившееся в нём ещё до бегства в санаторий, возвратилось с новой силой.

Не выдержав снедающего раздражения, Александр в один из вечеров предложил Алле послушать его последнюю композицию, написанную месяца три назад в сложившемся за последние годы стиле. Не имея в санатории синтезатора или иных музыкальных инструментов, Александр располагал лишь лазерным диском, хотя как никогда ему хотелось представить живую музыку.

Алла слушала внимательно, чуть склонив голову влево, слушала, едва заметно покачивая головой и, должно быть, машинально поводя кончиком туфли на запрокинутой ноге. Когда отзвучали последние аккорды, она осталась всё в той же позе, даже сохранила едва заметные движения, словно всё ещё продолжала слышать угасшую мелодию. Потом встала, подошла к окну, молча вглядывалась куда-то вдаль, будто не желала повернуться к Александру лицом, встретиться глазами.

— Тебе не понравилось? — спросил Александр, тут же вспомнив, что в последний раз задавал этот вопрос много-много месяцев назад своему другу, мнения всех остальных он давно уже не спрашивал.

— «Вакханалия», «Вечерница», «Печаль на закате», — она перечисляла его произведения десятилетней давности, — в них не было фальши, а здесь она есть.



— Уходите, — Александр почувствовал сильнейшую злость: снова его обманул лучший друг. — Уходите, потому что я не хочу с вами ссориться.

Случайная знакомая, скромный библиотекарь из забытого людьми и богом города смела так просто, так спокойно обнажить его тайны, которые ему-то хорошо известны и без чужих подсказок, но для других должны быть недоступны. Идея поездки в родные места уже не казалась удачной: к нему здесь не возвратилась музыка, его здесь ждало уже привычное разочарование.

Алла ушла, Александр открыл окно, в которое она так долго смотрела, и выбросил в него лазерный диск.

Этой ночью ему снова приснилась Александрия. Город явился отчётливо и реально, реально настолько, что Александр видел трещинки в камнях и забившуюся в них пыль, незначительный скол на мозаике, едва заметный иной оттенок у одной из больших колонн, поддерживающих здание. Он бродил по пустым улицам, шёл, не слыша собственных шагов, ибо в этом городе отсутствовали всякие звуки. Александрия была единственным местом, в котором он не испытывал одиночества. Город был подобен огромной, застроенной красивыми зданиями, заполненной несметными сокровищами, сложной и непостижимой душе, быть может, всего мира, быть может, какого-либо человека или его, Александра.

Когда в одном из переулков Александр увидел быстрый промельк человеческой тени на стене, он решил сначала, что это оптический обман, игра теней. Но на площади города, у входа в безмерную сокровищницу — Александрийскую библиотеку, которую он сотни раз собирался посетить, но не успевал — явь уводила его из Александрии, — он увидел уже отчётливо человеческую фигуру, второго пришлеца в его город.

Днём ещё вчера незнакомая женщина вторглась в его музыку — ночью кто-то посмел зайти в его город.

Сделав резкое движение навстречу незнакомцу, агрессивно рванувшись вперёд, Александр выскочил из сна, успев, однако, секундным мерцанием зрения увидеть в лице повернувшегося к нему человека лицо своего покинутого друга.

Утром Александр заказал билет назад, решив не оставаться в санатории на ещё одну запланированную неделю. Его пугала открывшаяся пустота в душе, пустота, обещающая лишь воспоминания, пустота, в которой время могло двигаться лишь назад, которая поглотила будущее ещё до того, как оно наступило. Ощущение собственной истощённости, отчаяние безнадёжности, которое, как правило, выражается либо в полном бездействии, либо, напротив, в активном и суматошном действии, гнали его, словно гончие псы зайцев, вперёд.

— Вы уезжаете? — спросила его Алла, встретив в вестибюле. Она либо действительно не была обижена на него, либо не сочла нужным показывать это.

— Да. Дела, — соврал Александр, придумывая обоснованную, традиционно уважаемую причину изменения планов.

Ночью этого дня ему приснился ещё один сон об Александрии. Он шёл по мостовой и, поворачивая на другую улицу, успел заметить, как в окне второго этажа углового дома мелькнул женский силуэт, окутанный газовой тканью. Александр подбежал к двери того дома, нажал на неё — она открылась, пропуская его внутрь. Он поднялся по невысокой лестнице и попал в длинный коридор со множеством дверей справа и слева, расположенных в шахматном порядке. Он торопливо шёл, заглядывая в каждую дверь, направо и налево. Комнаты были заставлены: мебель, ковры, подушки, портьеры, кувшины всех видов, статуэтки, сотни безделушек, небрежно оставленные аметистовые бусы... Напоминает кладовую, в которую небрежно сносилось всё добро, в которой не жили, но всё же иногда посещали. В коридоре его шаги

звучали гулко — в комнатах вещи крали всякий звук. Коридор казался бесконечным, иногда Александр замечал признаки чьего-то присутствия: ещё дымился кальян, на розах, поставленных в вазу, блестела роса... Он прошёл до самого конца гостиной — бесконечность коридора оказалась мнимой, он никого так и не обнаружил. Александр зашёл в последнюю комнату. Выглянул в окно, и там, где был поворот, где несколько минут назад стоял он сам, заметил женский силуэт, уходящий за угол. Александр прямо из окна выбрался на крышу низкой пристройки, стоящей около дома, оттуда по каменным ступеням вниз, на улицу, но как только коснулся мостовой, марево сна развеялось, он проснулся.

В то утро к Александру пришла музыка. Он писал, закрывшись в своей комнате, писал непривычно для его стиля, более жёстко, с дёргано-рассыпающимся ритмом, мелодию, в которой в Александрию, всегда тихую и спокойную, всегда задумчивую и почти не проявленную в века, вторглось нечто чуждое, а может быть, напротив, её исконно родное, её скрытое, спрятанное за каменными постройками — ушедшая за напластование веков сущность.

Александр писал музыку приснившегося города, города, в котором он мог быть сам собою, в котором он ощущал гармонию мироздания. Он забыл про билеты на самолёт, про необходимость есть и пить; властные волны звуков несли его, подчинялись ему, заставляя переносить их на нотные линии. Иногда, буквально на мгновение, он отрывался от своего труда, чтобы бездумно, почти бесчувственно посмотреть в окно, в сизое от собирающихся туч небо, затем, словно очнувшись, вновь возвращался к воплощению музыки на бумаге.

К утру следующего дня сладостный наркотик творчества был исчерпан, музыкальное произведение завершено, наступило привычное опустошение.

Александр вышел в тёмный парк, в нервном возбуждении и смертельной усталости быстро шёл по аллее, долго стоял у неработающего фонтана, потом поднялся выше, на небольшой холм, чтобы встретить рассвет. Александрия отпустила его.

## ПЛЕН ВЕЧНОСТИ

*Бытие, 2,9; 3, 22—24*

Человек был один. Один в узкой кабине управления, один и во всём корабле-разведчике, один на много миллионов световых лет вокруг.

Космический корабль летел среди незнакомых мёртвых звёзд, летел давно бездумно и бесцельно, а пилот его, чья рука раньше уверенно сообщала приборам выбранный маршрут, устало ждал встречи с небытием.

Прошёл год после аварийного выхода корабля из ноль-транспортировки и две недели после смерти второго пилота. Человек привычно смотрел в вязкую глубину чёрного пространства и вспоминал. Три месяца пытались они с напарником определить, куда забросили их неполадки в приборах, три месяца ещё надеялись на возвращение. Но искривлённое пространство выбросило их в далёкую часть Галактики, сигналы корабля не долетали отсюда до Земли, люди не могли вернуться на свою планету. Они искали причину сбоя в технике, пытались рассчитать обратный путь, а приборы сообщали о новой беде: безымянная звезда, находившаяся не так далеко от их корабля, готовилась стать сверхновой. И пилоты решились на серию ноль-транспортировок, пытались уйти от взрыва сверхновой. Они исчерпали все возможности

своего корабля, но звезда успела дотянуться до них своим смертельным радиоактивным дыханием и, сама искажая пространство, повлияла на их путь, забросив в совсем неведомую часть Вселенной.

Люди в корабле перестали верить в возвращение, перестали искать в далёких светящихся скоплениях огоньков своё солнце. Люди ежедневно снимали показания приборов и наблюдали за звёздами, ставили эксперименты. Они работали, чтобы не сойти с ума, чтобы хоть как-нибудь оправдать своё существование в изматывающей бесконечности, а кровь их от тоски по недоступному вечно дому и отчаяния, а может быть, от встречи со сверхновой, становилась из красной белой.

И теперь один пилот сидел в кабине управления, второй уже две недели лежал в герметической упаковке в своей каюте.

А живой пилот готовился к последнему в жизни выходу из корабля. Скоро ему предстояло отправиться вслед за другом, и где предстоит покоиться его телу — в кресле, в тесном проходе между каютами, в кабинке для душа? Вечность будет нести небольшой звездолёт-разведчик, внутри которого лишь постепенно замолкающие приборы и два тела... Вечность.

Иногда казалось ему, что увидит он, заглянув в иллюминатор, не пустоту незнакомого пространства, а родную Солнечную систему, голубой, дышащий шарик родной планеты, но безжалостен космос, и трудно представить, понять то расстояние, что отделяло человека от его Солнца...

За время блужданий в чужих мирах лишь одну планету встретил потерявшийся звездолёт. И пилоту хотелось до того, как навсегда застыть на безупречно чистом холодном полу корабля, успеть проделать ещё одну работу, ещё одно исследование, — спуститься, хотя бы на час спуститься на маленькую планету, облюбованную, когда ещё был жив напарник. Они хотели это сделать вдвоём.



Теперь пойдёт один. Часть планеты была покрыта чем-то похожим на блестящий купол, и пилоту хотелось узнать, что это такое; опасности, связанные с непредвиденной посадкой, его уже не могли пугать.

Снова становясь послушным воле человека, мягко меняет корабль маршрут. Его керамические бока властно обхватывает притяжение планеты, натужно сопротивляются падению двигателя, а через некоторое время корабль оказывается на каменной поверхности окружённого скалами плато.

Через некоторое время из звездолёта вышел пилот. Он долго смотрел на чужое тёмное небо, на изломанные очертания скал и синие камни под ногами. Последний раз под ним не призрачная крепость пола корабля, а плоть планеты. И пилоту хотелось постоять подольше, но он не знал, на сколько хватит его сил, он вынужден был торопиться. Пилот включил видеокамеру и двигатель скафандра, полетел к скалам, за которыми и должен быть купол. Скалы, столпообразные, пирамидальные, отбрасывали неверные изогнутые тени, похожие иногда на чёрные пропасти-входы в таинственные подземелья. Пилот обогнул очередную каменную глыбу (ему уже начало казаться, что этим гигантским камням и конца не будет) и вдруг увидел — впереди раскинулся бесконечный светлый сад. От неожиданности человек замер. На миг ему показалось, что это галлюцинация, мираж, наваждение, но впереди действительно был сад, виднелись огромные деревья, склонённые под тяжестью плодов, до слуха доносилось пение птиц. Пилот стоял за скалой, он боялся приблизиться к саду, словно тот мог рассыпаться, исчезнуть при его приближении. Слева от сада тянулась дорога, уходящая на восток, в тёмные просторы безжизненной степи, над которой почти не светило слабое далёкое солнце.

Пилот заметил вдруг, что у начала сада по дороге кто-то ходит. Можно было разглядеть нечёткую огром-

ную фигуру, всю слепяще-белую, в развевающихся одеждах. Белоснежные полотна вздымал ветер, фигура, казалось, вот-вот взмоет над садом. Исполин словно ждал кого-то, он иногда стремительно делал два-три шага вперёд, тут же, впрочем, возвращаясь на прежнее место, и ни на секунду не отводил от дороги взгляда. Пилот из-за своего каменного укрытия тоже посмотрел на дорогу: на ней, совершенно пустынной до того, и впрямь что-то шевельнулось вдаль, какая-то точка, камешек. Огненный луч сверкнул из взметнувшейся руки исполина, навсегда прекращая это неясное движение, и дорога вновь замерла в своей коварной пустынности, а светлый гигант по-прежнему напряженно всматривался в её изгибы. «Лазер, — подумал пилот, — у него лазер». Человек полетел в обратную от этого опасного воина сторону, обогнул ещё несколько скал и снова оказался у сада. Осторожно осмотрелся, но никого не заметил. И вошёл в сад.

В саду было удивительно светло, казалось, его греет невидимое солнце. Оглушало разнообразие трав и цветов, пряных и нежных, тонких и резких ароматов, которые, чудилось пилоту, проникали даже сквозь скафандр.

Но особенно поражали деревья. С высокой раскидистой кроной и приземистые, низкорослые, ярко-изумрудные и светлые, голубо-зелёные, овеванные матовой дымкой и вымыто-блестящие, с лохматыми, лопухообразными, резными, ланцетовидными листьями — все они были отягощены плодами.

Человек шёл всё дальше, в глубь сада, удивляясь многообразию растительности, жадно всматриваясь в буйство форм и красок. Лишь лёгкий ветерок тревожил покой застывших под грузом плодов деревьев, да мелькали то тут, то там вычурно разрисованные маленькие птички, чьи звонкие голоса создавали удивительную музыку сада, музыку покоя и гармонии.

Пилот протянул руку и дотронулся до причудливо изогнутого глянцево-блестящего плода красно-кирпич-

ного цвета. Плод остался в руке, легко отделившись от питающего ствола. Так и пошёл пилот дальше, сжимая в руке нечаянный подарок светлого сада.

В очертаниях одного дерева увидел он что-то знакомое, словно не раз уж встречал эти обнимающие ствол ветви, мелкую резьбу листа, бархатные, пушистые плоды. Может быть, росло такое дерево в городском парке родного, потерянного в изгибах пространства и реально для него уже не существующего города? Может быть, стояло оно около школы или у мелкой речонки за домом?

Человек захотел сорвать плод, вспомнить его. Ему пришлось привстать и подтянуть к себе ветку.

И первый, и второй плод опустил он в поясную сумку, и тут настиг его привычный приступ тошноты. Заломило голову, мелкая дрожь охватила тело, словно липкое, удушающее существо зашевелилось внутри. Нужно было возвращаться, возвращаться к запелёнутому другу, чтобы стать вскоре, как и он, вечным пленником небытия. Пилот включил двигатель скафандра и встревоженно замер, не почувствовав его работы. Из сада ему пришлось идти пешком, преодолевая глухую, увеличивающуюся тяжесть в ногах. Он уже не рассматривал растительную роскошь вокруг, он боялся, что мог неверно рассчитать время и придётся остаться тут, предав друга, покинув его в одиночестве, да и грозный гигант на дороге вспомнился. Преодолевая дурноту и слабость, вышел наконец человек из сада, и тут же давно включенный двигатель поднял его вверх. Не раздумывая о странных капризах приборов, пилот вернулся на корабль, и через некоторое время звездолёт-разведчик оторвался от безымянной планеты.

Вечность равнодушно заглядывала в иллюминаторы, бездонная темнота всасывала корабль, и человек в нём уже спокойно думал о долгом безмолвии. Он просмотрел результаты своих последних анализов, он уже знал,

что осталось двадцать — тридцать часов, вычлененных из этой вечности, он уже мог не бояться бесконечно долгого, одинокого пути — его ждала пристань.

Пилот сидел в глубоком кресле кабины управления, а перед ним на панели приборов лежали два ярких тяжёлых плода, напоенные соками чужой планеты. Один плод — картинно глянцевый, причудливо изогнутый, другой — округлый, пушистый, со слабым румянцем. Человеку нечем было riskовать, и он взял один из плодов, надкусил его нежную плоть, растёкся во рту сладко-терпкий сок. «Последняя пища моя, последняя пища», — думал человек, медленно проглатывая кусочки. «А надо было всё же попробовать вступить с ним в контакт», — вспомнил он вдруг о грозном гиганте на планете с садом, не зная, что в это время стоял белоснежный исполин, склонившись перед деревом, и сокрушённо касался пальцем едва заметного следа на ветви — следа от черенка оторванного плода. Тысячелетия стоял он на пути, оберегая, — знал ли кто более верного стража! — но похищен, похищен плод и Второго Древа...

## ФИГЛЯР

— Шут гороховый, — сказала она, пытаясь не рассмеяться. Вокруг глаз загорелая кожа легла мелкими, отчётливо видными морщинками, губы подёргивались в принуждённой серьёзности, а лёгкий беспорядок волос давно уж отринул всяческие потуги к дисциплине и хохотал, хохотал без устали. Дверь, к которой она прислонилась плечом, тоже косило от смеха, и подрагивал ключ в замке, зашедшемся в безудержном смехе, и дерзкий сквозняк простуженного подъезда затевал лёгкий флирт с подолом её платья. Я предвидел, как резко, но так продуманно, откроется дверь, и она влетит в свою квартиру, подталкиваемая ветром, и злорадно хохотнёт потёртый коврик у порога вслед промелькнувшим мимо подошвам, а она, выронив от неожиданности смех, обрушится на меня с упрёками, вспоминая, как мы не были в парке и нам не достались вожделенные билеты на концерт проезжей знаменитости, как она не пошла со мною в «Ириллюз», и как я пошёл за нею в пиццерию, где на низких столиках бесстыдно скалились плоские лепёшки итальянского кушанья, приобщая посетителей к карикатурному закордонному бытию, и — что я мог поделывать! — пришлось часа два увещевать плотную, как войлок, пиццу, объясняя ей отличие между съедобным и несъедобным и на ходу производя сложнейшую классификацию едогого на земле, на что пицца молчаливо улыбалась, по-

казывая ярко-бордовый томатный язык, и наш учёнейший диспут длился бы бесконечно долго, но моя милая спутница, так часто выдерживающая тяжелейшие битвы с окружающим её смехом, гневно всплеснула юбками и ушла, подтвердив древнее высказывание о том, что женщинам чужды учёнейшие диалоги, за исключением тех, на протяжении которых смотришь только на женщину, как это делает Кир, чьё вождеющее лицо она видит ровно восемь часов сорок минут в сутки, восемь часов напротив, за соседним рабочим столом, и сорок минут напротив, но уже за другим столом, в столовой. К этому следует прибавить ещё несколько минут случайных столкновений у двери комнаты перед началом рабочего дня и несколько минут в конце рабочего дня, а потому она мечтает, чтобы я спас её от милого, необычайно толстого друга, преследующего неотвратно липким взглядом, она так жаждет освободиться, что согласна терпеть меня ежедневно на остановке, если бы я приходил ежедневно, но я предпочитаю встречать её неожиданно, у дверей дома, как сегодня, или в булочной, куда она выскакивает в домашних тапочках, чтобы купить строгий прямоугольник вчерашнего хлеба и, по случаю, нежный рогалик или присыпанную сахаром гляцевую булочку, но там перед ней не маячит лицо Кира, и мне редко бывают рады, а я провожаю её до двери дома, и её чувства прячутся под плохо пригнанной маской вынужденной вежливости, хотя перед тем, как войти в квартиру, она всё же останавливается, прислонившись боком к двери и оттягивая тот грустный момент, когда надо уйти, не пригласив.



\*\*\*

— Шут гороховый, — сказала она, задыхаясь от гнева. Сквозь нежную кожу щёк проступил сердитый румянец, и всё вокруг неё мгновенно восприняло её негодование, враждебно настроилось против меня. Ещё крепче, казалось, сжала деревянные челюсти дверь, и холодный одинокий ветер дичающего подъезда сердито хлестнул меня по спине. Её настроение всегда удивительно быстро распространяется на все вещи подле неё, на лица людей и ветви деревьев, на бродячих кошек, торговцев мороженым, иногородних туристов и даже на находящихся в отгуле солдат. Небо в таких случаях стремительно хмурит свой лик морщинами облаков, ветер прячет в запасник свои мягкие тёплые ладони и вооружается сотнями острых игл, ближайšie магазины закрываются на учёт, а на местной ГРЭС отключают электроэнергию, парализуя городские трамваи и троллейбусы. А она всё строже смотрит на меня, поддерживая свой гнев воспоминаниями о том, как меня не пригласили на очень важный вечер в Доме Учёных, а потому и она туда не попала, как я отказывался идти с нею в парк и пиццерию, и как она отказалась идти со мной в «Ириллюз», но зато мы попали на концерт проезжей знаменитости и могли бы наслаждаться два с половиной часа маскирующимся под музыку грохотом динамиков, но я всё испортил, ибо вступил в беседу со шнуром, тайно проложенным под резиновым ковриком вдоль помостков, и он поведал мне о грустной заезженности фонограммы и многодневной усталости артистов, дающих по три концерта в день и уже автоматически попадающих под механический звук, а я искренне посочувствовал, и впервые встретивший участие, утомлённый ежедневным гримом рот артиста невольно забыл о своих служебных обязанностях, вырвался на минуту из-под власти своего хозяина, ко-

тому он принёс такую славу, и сказал мне, что если бы он только знал раньше, чем всё это кончится, то никогда не выпустил бы из гортани первые звуки в такт мелодии и жил бы сейчас спокойно, растрачиваясь лишь на непринуждённую болтовню и поедание пищи. Услужливый микрофон многократно усилил это признание, звезда была сконфужена и испугана — она никак не ожидала подобного коварства от собственного рта, да и не подозревала, что он хоть на минуту выйдет из повиновения, концерт был испорчен, а моя милая спутница всю дорогу, справедливо догадавшись о первопричине происшедшего, упрекала меня в несдержанности и легкомыслии, в пристрастии к беседам и неумению просто сидеть и слушать, в самом моём существовании и явно сожалела, что это я был с нею рядом на концерте, а не верный её сослуживец Кир, чьё длинное худое лицо она видит ежедневно по восемь часов сорок минут, ибо работают они за столами напротив и обедают в столовой тоже за одним столом.

\*\*\*

— Я уезжаю, — первое, что сказала она, увидев моё умело скрывающее надежды лицо. — Я уезжаю, — повторила она, заметив, как плохо удаётся мне скрыть неприятное изумление и сменяющие друг друга подозрения самого разного калибра и качества. — Я уезжаю, — строго, как обвинение, произнесла она с непроницаемо серьёзным видом, — я уезжаю делать деньги.

Мне нужно было молчать, нужно было тоже срочно принять серьёзный и немного торжественный вид, соответствующий важности данного высказывания, нужно было проигнорировать те мельчайшие пылевые смерчи-

ки, что вспыхнули при этих словах у её ног, невидимыми петлями обвились вокруг красных, с бантиком, боножек и умчались прочь по исхоженному до мучного дробления тротуару. Но я вместо этого, по дурнейшей привычке своей вербализировать происходящее или хотя бы пытаться совершить таковое, подобно тому, как некогда и было всё совершено, развёл руками и спросил, как и из чего она собирается делать деньги, будет ли она их рисовать, печатать, производить с помощью запутанных магических заклинаний, или же под столь сложным и конкретным термином подразумевается некая работа и грядущее вознаграждение, но в таком случае делать она будет не деньги, а эту самую работу, будь то материальное, предметно осязаемое производство, или нематериальное, однако опосредованно воспринимаемое действие, и нужно ли для этого уезжать, хотя, если это что-то вроде Клондайка, может быть, и необходимо, но вряд ли возможно при её неистребимой потребности в уюте и податливости диванного сиденья. Кажется, она назвала меня фиглярром, но она часто пытается подыскать мне какое-нибудь стороннее определение, избегая произнести вслух моё имя, словно этим может решиться что-то, назваться и определиться уже навсегда.

— Я еду в Панфилов, — сказала она, игнорируя мою длинную речь, — там дешёвая китайская барахолка. Привезу что-нибудь, а здесь продам.

И мгновенное видение открылось передо мной в воздухе душного летнего города: она — на барахолке, она — за прилавком, она, со столь редкими сейчас покатыми плечиками, чуть виноватым взглядом больших серых глаз, негромким, но таящим в себе скрытые весенние звуки голосом и лёгкими, как танцевальные па, движениями, она, выделяющаяся среди всех, как статуэтка XIX века в обстановке двадцатого, она — торгующая в спёртом воздухе вещевого рынка.

— Это невозможно, — сказал я, — это совершенно невозможно, и зачем?

— Как ты наивен! — воскликнула она. — Боже мой, как ты наивен! Ты не видишь ничего, кроме своего микроскопа, для тебя только и остался этот микроскопический уровень, а мир вне микроскопа давно уже летит в тартарары, всё изменилось, всё, и мой диплом когда-то престижного вуза ничего не стоит, во всяком случае, судя по зарплате, и мы, наверное, тоже ничего не стоим... Тебе кажется, что торговать недостойно? Что этим можно себя унижить? Да посмотри, все вокруг теперь торгуют: инженеры торгуют, врачи и учителя торгуют, доценты, профессора, все, все...

Она судорожно сглотнула, отвернувшись, провела рукой по виску и, слегка успокоившись и взглянув мне в глаза, сказала:

— Я еду в Панфилов, чтобы грядущей зимой выбрасывать в урну, а не носить дырявые колготки.

Интересно, после какой фразы своей подруги знаменитый древний мудрец сказал, что аргументы женщины не могут быть опровергнуты, ибо не могут быть подтверждены? И я промолчал, сражённый её неопровержимым доводом, касающимся таинственных свойств колготок, лосин, дольчиков и других быстропортящихся предметов, созданных для украшения, согревания, удлинения, а порою и унижения женской ноги, и снова задумался, потеряв все возможные и желанные объяснения, — зачем же меня пригласили на эту предпанфиловскую встречу? А она была полна решимости, выстраданной, хорошо продуманной решимости, и поездка уже существовала в её медноволосой головке, уже мчался междугородний автобус, разноязыкие продавцы выкрикивали достоинства своего товара, а сумочку приятно оттягивала тяжесть быстрых денег, и только что-то одно смущало её, придерживало, и ради преодоления этого незначительного препятствия, камешка на асфальтированной

дороге, она и позвала меня, чтобы, наконец, негромко признаться:

— Мне страшно ехать одной. Автобус выезжает в пятницу вечером, а в воскресенье ночью возвращается в Алма-Ату. Ты не мог бы поехать со мной?

Если развито у тебя, Кир, шестое чувство, включающее в себя ещё десяток различных чувств, то, наверное, ты беспокойно шевельнулся в этот момент, и оконные стёкла в твоей квартире тревожно задребезжали, ощутив один из возможных вариантов жизни, но — один из... И согласие моё, мгновенное, полное надежд согласие было встречено благодарной улыбкой, провисевшей в воздухе дольше, чем моя новоявленная коммерсантка чётко перечисляла, куда, когда и как нужно явиться, и эта улыбка беззвучно проявлялась передо мной и дома, когда я, сидя в кресле, слушал Гайдна и гладил утробно мурлыкающего кота.

\*\*\*

— Тебе двадцать восемь, — шептала стена покосившимся ртом облупленной штукатурки.

— Тебе двадцать восемь, — вторила дверная притолока.

— Тебе двадцать восемь, — ухмылялась старая вешалка из оленьих рогов или старые олени рога, служившие вешалкой, — и ты хочешь жениться и не умеешь зарабатывать деньги.

— Это неверно, — отвечал я, — или не совсем верно. Я не хочу жениться, я просто хочу, чтобы она была рядом, поблизости, в пределах досягаемости, чтобы её улыбка плавала в воздухе при первом пробуждении утром, а тёплая гладь нежной кожи была последним вос-

поминанием рук ночью, чтобы в шифоньере витал запах её одежды, а на полу стояли примятые пятками тапочки, чтобы я всегда мог смотреть, как она расчёсывает волосы, прекрасные, отливающие медью волосы, — из таких, должно быть, сплетён пояс Венеры, — и чтобы мой верный друг, полосатый кот, по природной подозрительности или вследствие приобретённой экзистенциальности не признающий никого из живущих на земле людей за объект внимания (кроме, разумеется, говорящего эти слова, вскормившего его из слепого котёнка и потому изначального, а не узнанного или приобретённого), тёрся об её ноги и утробно мурлыкал, но кто виноват, что все эти великолепные, волшебные вещи и события, факты и явления, понятия и категории, всё это многообразие, эта тайна, укладывается у неё в понятие замужества? И если бы это, только это, — продолжал я, подхватывая на руки соскучившегося за день моего серополосого кота, который тут же откликнулся на прикосновение коротким звуком и снопом искр, взлетевших к потолку и осветивших до белизны комнату (к счастью, на этот раз ничего не загорелось), — самое неприятное то, что меня она в это понятие ну никак не включает, я в нём отсутствую, не существую, и не существую настолько, что порою кажется — не существую и вообще, а всего лишь сам себя выдумываю — и тебя тоже, мохнатый приятель, ибо как же ты без меня? — и ей навязываю, маниакально навязываю, и ей хочется порою сбегать к врачу и сделать от меня какую-нибудь прививку или примочку, чтобы исчез совсем, сгинул, и что поделать, коли милей ей даже привившийся на работе Кир, черты лица которого от её постоянных взглядов через стол настолько стёрлись, а то и вовсе исчезли, что, встречая его порою в её компании или случайно, на улице, я не сразу узнаю и вглядываюсь в неизменного своего соперника, вглядываюсь, пока не выступят на передней плоскости его головы стусевавшиеся тени носа и глаз, чьи горбинка-косинка выдадут

имя хозяина, хотя, кто знает, насколько точно, ибо точность не является привычкой бытия, и я, быть может, не совсем точен в своих умозаключениях, как не точны и вы, мудрые рога убитого в лесу лося, обвиняя меня в неумении зарабатывать деньги, ибо что значит «зарабатывать деньги», что скрывается за столь простым, часто употребляемым словосочетанием, как не целенаправленная деятельность именно в той области и именно таким образом, которые на данный момент наиболее хорошо оплачиваются, что ещё за этим словосочетанием, как не отвержение всего себя ради бесконечной гонки накопления; блаженны вступившие на сию дорогу, но сколь тягостно в течение бесконечных суетных дней сдерживать в себе сжигающее сердце стремление, иной зов и иной путь, не сообразующийся с данным моментом, да и не знающий, что это такое, тайную энергию, истекающую из тебя сначала бурной струёю, потом начинающую кипеть и сплавляться, как лава в закупоренном пробкой Везувии, а затем обречённо сочиться редкими каплями до полного оскудевания. О, уважаемые витые, как лозы судьбы, рога, я совершенно уверен в подобном непременном оскудевании, ибо всю жизнь, с первого, ещё младенческого лепета мы закупориваем в себе крепкими, надёжными пробками тысячи таких источников, больших и малых, порою едва заметных, закупориваем, пока не оказываемся сами огромной непробиваемой пробкой, которую, в свою очередь, подхватывают другие, неоощущаемые нами руки и затыкают ею ещё один родник, уже куда больше нас самих и не только к нам относящийся. Но я отвлёкся, уважаемые, отвлёкся от строго намеченного ответа — что поделывать! — не удаётся мне сделать свою речь подобной неуклонному пути вашей бывшей носительницы антилопы гну, отважно прорывающейся сквозь коварство тихих крокодиловых вод, буйство реки и стрелы голодной засады, нет, моя речь подобна ручью, обвивающему каждый камешек, обходящему снизу ли,

сверху или сбоку малейшее препятствие, и единственной путеводной звездой служит ваш упрёк, к которому всё же придётся вернуться, нельзя не вернуться, ибо он несправедлив и горек, — я умею зарабатывать деньги, баранье украшение, умею, но стоят ли они того?

А, вот вы и захихикали, скручиваясь в подобие паутины, зазлорадствовали, напоминая, что стоят-то они ох как дорого, что именно они и могут помочь осуществить невозможную сказку с завоеванием царевны и стоящими у дивана примятыми её пятками тапочками, что только тогда...

Замолчите! Пора собираться.

\*\*\*

Смеркалось, а мы влезали в странно сосредоточенный автобус. Смеркалось, а мы деловито рассаживались на протёртые до плечи сиденья. И вслед за нами ползли сумерки, собираясь в тёмные сгустки, прячась под креслами, цепляясь за ноги проходящих и лохматыми обрывками свисая с них, как тряпьё нищих, и она зябко ёжилась, пытаясь отогнать робким движением плеч липкое прикосновение тьмы, а групповод — оказался такой в автобусе, верней, такая, громкая, с меткими движениями глаз, в туго обтягивающем трико — бодро уговаривала не торопиться, устраиваться поудобнее, хорошо отдохнуть ночью, не пить много жидкости, остановка только на рассвете, говорят, будет хороший базар, свободное место есть в конце автобуса справа, на прошлой неделе хорошо шли «пальмочки», здесь сильнее трясёт, за пределы барахолки не выходить, подберите ногу, она мешает, вы уронили пакет, кажется, едем, — и её четко выделенные слова с гулким стуком падали на пол автобуса,



отскакивая от него, как оброненные теннисные шарики, и рикошетом ударяя в смятённых их обилием пассажиров.

Мы сели, конечно, рядом, и она вдруг крепко схватила мой рукав, она испугалась, почувствовав духоту в автобусе и движение этого автобуса, путь по плохо сработанному асфальту в компании напряжённо поглядывающих друг на друга людей, объединённых соперничеством выживания, вытеснения, вышибания; и я оценил усилия её пальцев, ибо всегда желал, чтобы она вцепилась в мою руку, как маленькая девочка, как любящая женщина, как обрадованный встречей после разлуки кот, и вот, наконец, она соединена со мною материальным зажимом пальцев и нематериальным ощущением страха, самого привычного страха перед поворотом в неведомое, и я кладу свою ладонь на её пальцы, а она не отдёргивает, не увёртывается с кратким смешком, и мне начинает казаться, что не напрасно увозит нас шоптурный автобус, и в конце этого пути станет привычным её прикосновение, исчезнувшее лишь тогда, когда все в автобусе неожиданно оживились, зашуршали бумажками, принялись вытаскивать в публичную духоту припасённые бутербродики, и вскоре весь автобус дружно перемалывал «походную» пищу, а после, с особым выражением удовлетворения и сытости, пассажиры во главе с групповодом откинулись на спинки кресел и устроились спать, подпрыгивая временами от резких толчков ухающего в дорожные выбоины автобуса и тут же снова засыпая. Она тоже прикрыла глаза и сделала вид, что спит, ей почему-то важно было создать впечатление спящей, и до остановки в Панфилове она полулежала на спинке, изредка сползая на моё плечо.

\*\*\*

В четыре часа утра автобус, в последний раз вздрогнув, остановился в Панфилове у начала обширной территории «китайской барахолки», до открытия которой оставалось ещё два часа. Наш автобус не был первым: перед нами уже стояли ломаным строем его прямоугольные собраты из разных мест, но с удивительно однообразным грузом напряжённо ожидающих удачи людей, и наши попутчики тоже заразились этим ожиданием, решительно разорвав зыбкий дорожный сон и подбравшись, как бегуны перед стартом, но до старта нам ещё предстоял Алик Меченый, никому пока не известный Алик Меченый, ничего пока не отметивший Алик Меченый, но уже ставший неуничтожимым клеймом всей короткой нашей панфиловской эпопеи, нашей дороги, нашей не-лепой, ежели принимать её всерьёз, жизни, и вошёл он уже утвердительно развязно, ощущая свою эмблематичность, неизбежность существования в линейном времени, и в расхлябанной походке его сквозила наглость хозяина на незаконно присвоенной плантации рабов, и рот его криво улыбался, когда Алик, остановившись в узком автобусном проходе, и вовсе сжавшемся от его дыхания, самодовольно, словно глядя в невидимое зеркало, произнёс: «С вашего автобуса — сто тысяч. Ждем пятнадцать минут», — и направился к выходу, покачиваясь, как на палубе корабля. «Как? Почему?» — кто-то выдохнул ему вслед. «Налог, — распластывая рот ещё шире, сказал Алик, — налог за проезд. Иначе окна побьём и шины проколем». Алик вышел из автобуса, но тень его подозрительно задержалась, прислушиваясь к испуганно-возмущённому шёпоту, и быстро юркнула под сиденье водителя, выставив только острую подпрыгивающую полоску длинного уха.

После ухода Алика все в автобусе необыкновенно оживились, заговорили разом, перебивая друг друга, и слепое возмущение гневно забилося между сиденьями, окрашивая щёки разгорячившихся пассажиров в розовые тона и заставляя глаза сиять столь сладостным блеском жизни. «Нас сорок пять человек, — раздался вдруг отчётливый отрешённый голос полной девушки со второго сиденья, — с каждого получается всего по две тысячи двести пятьдесят», — и рокот в автобусе мгновенно стих. «Деньги буду собирать я», — решительно сказала одна из пассажирок, поднимаясь с прогретого за долгую дорогу кресла и разворачивая припасённую тряпичную сумочку. И я изумлённо встал, ибо сломалась незримая ось мироздания, и мир закружился в бешеной пляске бесконечных круговоротов, и пол поплыл под моими ногами, и небо за пыльными окнами начало стремительно менять цвета от голубого до густо-оранжевого, и навеки была потеряна таинственная разумность происходящего, заставляющая всё на свете, от отдельного атома до клетки, жить так, а не иначе, — мир оскалился в гаерской аликовой улыбке; я встал и сказал: «Вы собираетесь ему платить?»

«Правильно, — неожиданно поддержал меня мужской голос сзади, — сначала нужно выйти и посмотреть, действительно ли они в состоянии осуществить свои угрозы».

И мы вышли втроем, вся мужская «половина» автобуса, мы вышли на притихший панфиловский асфальт для того, чтобы увидеть человек двадцать недовольных столь ранним пробуждением парней, сонно слоняющихся позади нашего автобуса с заточенными кусками арматуры и откровенно выпирающими карманами, и наше появление их обрадовало, они удовлетворённо заулыбались и подошли поближе, разглядывая, и я вдруг почувствовал себя в зоопарке, столь любимом фантастами зоопарке, в котором множество инопланетных, негуманоидных су-

ществ изумлённо рассматривают сидящего в клетке жалкого голого человека. «Их много, действительно много», — услышал я сбоку короткое резюме, и наша крошечная делегация повернула было назад, к автобусу, но...

\*\*\*

— ...сумасшедший, — сказала она, вполне искренне сожалея, — как всегда — сумасшедший...

А в шесть часов утра открылась китайская барахолка, и наши попутчики, да и мы вместе с ними, как застоявшиеся бегуны на старте, ринулись в мгновенно заполнившиеся людьми проходы между рядами, выискивая каждый свою удачу. «Скорее, скорее, — шептала она, таща меня за рукав, — нужно успеть купить выгодный товар, пока не опередили». И мы искали, метаясь от продавца к продавцу, отрывочно спрашивая цену, иногда пользуясь при этом словами, а иногда и жестами, и нам отвечали словами и жестами, и я с изумлением слышал, как разгорячённая азартом обмена бумажек на товар, моя раскосматившаяся спутница категорично бросала «куй», «куй», смущая мой разум неведомым молоточным сочетанием звуков, которое явно не нравилось смуглолицым поставщикам пёстрых, небрежно сшитых тряпок, лежащих чаще всего прямо на земле огромными, до двух метров в высоту, горами, на пике которых, как на троне, восседали их владельцы, обозревая с высоты и возможных покупателей, и возможных похитителей.

«Фабричные, а не кооперативные! — услышал я восхищённый возглас, и понял, что наша удача нами обнаружена. — Курточки!» — и вот уже после поразительно быстрой торговли четыре десятка детских кожаных курточек перекочёвывают в наши необъятные сумки,

изобретённые для ношения всего своего с собой, а используемых в результате как основное орудие труда одной трети ранее трудоспособного населения.

Назад мы уезжали в тот знойный час дня, когда всё вокруг испуганно прячется в любое подобие тени, и даже неугомонные воробьи прекращают своё чириканье. Сонное удовлетворение охватило большую часть автобусных обитателей, и лишь несколько человек горестно вздыхали, что-то неслышно подсчитывая мягко шевелящимися губами, осознавая себя неизвестно кем несправедливо обманутыми. На какое-то время в автобусе вновь вспыхнуло оживление — разглядывали приобретённые товары — слышались завистливые и горделивые вздохи, но вскоре все снова успокоились и погрузились в полудрёму.

\*\*\*

И автобус привычно мчался по разбитой дороге, тянувшейся в Алма-Ату и Турцию, Китай и Польшу, и взгляды его пассажиров становились всё более и более острыми и голодными, на лицах вечной маской застыло судорожное напряжение, руки всё быстрее в короткие дорожные паузы пересчитывали измятые, разноцветные, как конфетные фантики, денежные купюры и раскладывали их пачечками, перехватывая каждую бумажной лентой, а автобус равнодушно мчал и мчал по круговой дороге, не замечая редкой смены своих ездовых, и бока его натужно гудели, и водитель давно уже вышел по своим каким-то делам — да и нужен ли он в круговом движении, — и никакие помехи вдоль обочины дороги не могли остановить механический бег лишённого лошадиных нервов, купленного в ФРГ, а прежде списанно-

го там, изношенного технического чуда, и я чувствовал, как зябко никнут плечи моей недоступной спутницы, как исчезает с её лица радость, вызванная азартом покупок, как сумерки окрашивают в мягкие лиловые тона нежную кожу подглазьев, и усталость грядущих суетных будней, наполненных разноцветьем тряпичной ветоши и тяжестью необъятных сумок, заставляет нервно сжиматься длинные пальцы привыкших к рапинографу рук. Немое отчаяние заползло на её колени, свернулось клубочком, и я понимал, что оно — единственный мой шанс, что мне надо избавить её от сумочной карусели, выхватить из чрева шумно дышащего автобуса, вынести на руках, не давая коснуться каблучками дорожной пыли, но... куда? Ведь в моей, вполне оценённой котом квартире не водятся под кроватью сотни лосин и дольчиков, не растут с вешалок десятки невесомых, как пух, мини-платьев, не постукивают каблучками застоявшиеся в нетерпеливом ожидании хозяйки туфли, а на столе не сохнут недоеденные за завтраком бананы... В ней, в моей скромной и тихой квартире, есть единственная материальная ценность (но только не для тебя она ценна, дорогая, не для тебя... покуда не продана) — это мощный электронный микроскоп, возделенная мечта нескольких лет, добытый невероятным трудом и невероятной удачей, торжественно внесённый когда-то на пятый этаж моего старого микрорайоновского дома и установленный на ещё школьном письменном столе, дабы не только на работе подглядывать одним глазком в щелочку — стеклянное окошко — за скрытой жизнью извечной клетки, прародительницы всего и со-творительницы всего дышащего, движущегося, думающего и притворяющегося, что думает.

\*\*\*

Клетка, живая клетка, мягко мерцающая мембраной, привычно очаровывала меня таинством своего бытия, замкнутого на себе и всё в себе содержащего, и вечность её всё дальше и дальше отодвигала от меня шум автобусных колёс и гул голосов, пёстрое мелькание вещей и лиц, судорожную смену ночей и дней...

И глядя в хрустальное стёклышко микроскопа на шевеление царицы органической жизни, я взмолился: Господи, освободи ты меня от этой снедающей жажды, от червя любопытства, заставляющего пробираться по нищей дороге постижения, отпусти меня из плена познания или подари пресыщение и утоли неистовую тоску сердца, тоску, которую только, — о Боже мой, как банально! — только труд мой, моя пробирочно-микроскопическая работа утишает на время, на весьма короткое время, о Господи, на время усталости и сна, хотя и туда, в прозрачное царство сна проникают рои рибосом, и во сне считывают они Великую Информацию творения жизни; отпусти меня из этого плена, Господи, чтобы мог я оторваться от созерцания жизни, чтобы мог забыть стремление нескольких лет и школярство своё, и ученичество, и приближение к некоему мастерству, чтобы мог бросить дело души и без шутовского колпака вступить в этот усмехающийся мир, сойдя со своего пути и ступив на иной, идеализированный в эпоху моего существования на милой земле, как в другие времена были идеализированы другие пути, ибо нет ничего желаннее для человека, чем чёткое определение правильной дороги, по которой устремляется самоуверенное множество, и мне придётся примкнуть к нему, так как возжелал я женщину, ибо шея её, как столп из слоновой кости, стан же подобен пальме, а чрево её... о Господи, каково же чрево её!.. и в бездонных глазах её тёмная рябь озёр, вспле-

скивающаяся мороком, особенно в минуты сильного волнения, как тогда, когда я выходил из автобуса на эту импровизированную разведку, а она ухватила меня за рукав, словно тонущая, и безумно-безумно шептала: «Ты смешон, смешон, что тебе с этого? Мы же всё потеряем, что останется? Подбитый нос и подбитый глаз? И может случиться, напрасно ехали... Останься здесь, зачем тебе? Всё не страшно, всё нормально, сейчас так часто бывает...» И блаженны дающие советы, ибо есть ли более бесполезный труд? А вне автобуса действительно оказалась команда Алика Меченого, все члены её, как слепые отражения самого Алика, обладали быстрым бездумным взглядом и стандартом плеч, разлапистой походкой и кривоватой улыбкой надсмотрщиков, и арматура в их руках вполне могла разбить стёкла автобуса, автомобиля, витрины магазина и окна домов, так как были предназначены бить стёкла, любые стёкла, которые отражают и отгораживают одновременно, а то и другое для Алика опасно, ибо любое отражение — шарж (не смейтесь, никогда не смейтесь над бьющими стёкла!), а любое отгораживание — становление вне сферы действия команды Алика, обнаружение её ущербности. И самым разумным — да, именно разумным! — было уйти, немедленно уйти назад, в призрачную крепость автобусных стен, уйти, подталкиваемым алчущими взглядами, для которых человек не есть творение, для которых мир — коллекция объектов, ждущих прикосновения немых рук, но, уходя, не станем ли и мы объектами, о Боже? и ухмылки мира кривят и наши рты в подобие улыбки, и на острие ледяной шапки земли достаточно ярких бубенцов, а стремление из рабства древнее самого рабства, и, вместо шага назад с негодными для этого мира словами, часто шагаешь вперёд, туда, где уже нет тверди, где ровный асфальт сменяется пропастью от удара мускулистой руки Алика Меченого, и видения цветных огней становятся новыми вестниками апокалипсиса, и путь назад пропадает,



вычёркивается из памяти — то ли сам туда дошёл, то ли спутники помогли, то ли и не выходил — лишь пригрелось, — а по автобусным рядам уже плывёт пластиковая сумка, куда опускают стыдливо, словно на подаяние, аккуратно расправленные деньги, и звучногласная групповод спрашивает, отдавая сумку, у равнодушного Алика, не потребует ли ещё кто у них деньги, не будут ли бесконечными поборы? «Нет,— покровительственно бросает Алик, — если кто сунется, скажете: „Алик Меченый уже отметил“», — и все вздохнули с облегчением, проводив благодетеля добрым взглядом, приобщившись отныне и навеки к бесчисленному царству меченых, и как горит эта метка, Господи, как жжёт она скулу, насмешничая ядовитой сменой цветов, как глубоко проникла она в плоть, и не вытравишь её, не смоешь, ведь даже ты, Господи, воскресив тело, не исцелил его, не уничтожил выбитые метки, не стёр следов смеющегося мира, в котором, о Господи! живёт женщина, чьи ланиты — как молоко и мёд, и которая мне желанна настолько, что взываю к тебе: дай мне силы забыть страсть познания, дай мне силы разрушить порог души и стать равноправным меченым, отпусти меня, Господи, отпусти...

Мой правый глаз всё ещё взирал на клетку, которая вдруг изогнулась и нагло хмыкнула мне в лицо.

Не отпустил.

\*\*\*

— Это серьёзно, — сказала она, подливая мне чаю, — это правда серьёзно, нам нужно только четыре тысячи долларов.

Лицо её было странно напряжено, и левое веко подёргивалось в страстном желании убедить, и плечи чуть

сдвинулись вперёд, и вибрировала крепко сжатая пальцами ложка.

— Это очень серьёзно и важно для меня, — в её голосе появился заметный нажим, — и всё выверено, мы не можем проиграть.

В открытую форточку её дома залетел лёгкий летний ветер, пробежался по занавескам и угас, не достигнув её волос, и заварочный чайник на столике перед нами презрительно фыркнул, смеясь над бессилием непрошеного уличного гостя, а чашки дружно звякнули о блюда, поддерживая своего носатого господина.

— Товар прибывает в четверг, нужно успеть добыть деньги, иначе опередят, — она медленно выговаривала слова, словно стараясь сделать их более убедительными. — Кир уже обо всём договорился, теперь нужны деньги.

И тень от книжного шкафа резко сместилась влево, предупреждая, и аромат свежих роз, купленных мною у бойкой женщины, сидящей на бордюре перед магазином с ведром, заполненным тёмно-бордовыми цветами, всплеснулся вверх, уберегая, и пожелтевший лист с усталого лимонного дерева на подоконнике сорвался на пол, останавливая, но она, она всё смотрела на меня тёмными просящими глазами, и я предпочёл не внимать предупреждениям.

— Всё просто, минимум усилий: покупаем, перегоняем в Петропавловск, там сдаём оптом и получаем триста процентов чистой прибыли! Ты только подумай — триста процентов! Уже везде есть договорённость, у нас с Киrom на всё это уйдёт всего полторы недели, нужны только деньги.

Она нервно взмахнула ложкой в воздухе, словно вычерчивая сумму гипотетической прибыли, и её тёмно-серые глаза не спускали с меня пристального взгляда, предугадывая реакцию, но я молчал.

— Это реальные деньги, живые деньги, и никакого риска! — Она встала из-за стола, прошла по комнате.

— Мы за неделю заработаем больше, чем за десять лет. Триста процентов!

Триста процентов меня вдохновляли, но я всё равно не понимал, откуда возьмутся доллары и зачем мне это всё говорится.

— Алибхан, — уже почти кричала она, сдерживая негодование от лицезрения моей тупости, — ты же знаком с Алибханом! Ты сам рассказывал, что вы учились в одном классе! Для него эта сумма — пустяк, ничто, он, если ты попросишь, одолжит тебе на две недели, всего на две недели!

— Нет, — сказал я, — мне это не нравится.

И тут же с шумом захлопнулась оконная форточка, прижатая резким движением хозяйки, и розы на столе испуганно съёжили свои лепестки, а от манжеты моей рубашки отстрелила и улетела в неизвестность пуговица, и серые глаза смотрели на меня, гневаясь, смотрели, умоляя.

— Ты же лишаешь меня шанса, может быть, единственного шанса... — Её взгляд притушила слёзная дымка. — Не знаю, почему ты сам не хочешь воспользоваться таким шансом — ты ведь получишь какие-то проценты, — но ведь ты и меня лишаешь, пойми! Я не в силах, не в силах больше жить в этой унижительной нищете, да, да, в нищете! Я не могу больше проходить мимо этих ужасных киосков, забитых коробочками, пакетиками и бутылочками, проходить, зная, что это не для меня! Я не могу забыть вкус клубничного варенья, да, варенья, на которое у меня теперь никогда не хватит денег. И не хочу надевать на ноги вместо изящных лодочек на каблуке местные или китайские босоножки, подошва которых после первого дождя всё равно отвалится! Мне стыдно, стыдно надевать на Новый год прошлогоднее платье, и я устала бояться за свою маму, которая немолода и которой в любую секунду может понадобиться новый флакон ношпы, стоящий половину её пенсии и четверть моей зарплаты!

Она схватила меня за рукав и заговорила быстро, отчаянно, с решимостью носимой ветром миллионного тиражирования героини:

— У меня нет будущего, у меня его отняли, неужели ты не понимаешь этого! И я подчиняюсь, всего лишь подчиняюсь велению времени, которому не нужны моё образование и умение, которому требуется лишь изворотливость, только изворотливость, и я буду такой, какой быть выгоднее, я заставлю себя быть такой, у меня просто нет выхода, я должна вырваться из порока нищеты, иначе я... я не знаю точно, что предприму, но так... так я больше не могу! И если ты не поможешь, — а только ты можешь мне помочь, больше никто, никто! — если ты мне не поможешь...

Она была некрасива в гневе, и я согласился сходить к Алибхану.

\*\*\*

— Прости, — с этим словом она перешла впервые порог моего дома, и олени рога, служившие вешалкой, удивлённо склонились, прислушиваясь, а серополосый мой кот подозрительно встопорщил усы, не сводя с неё ревнивого взгляда.

— Прости, я не хотела, — и слёзы безвольными струйками потекли из её глаз по щекам до подбородка, а оттуда, уже частыми каплями, вниз, на пол.

— Это нелепая случайность... или обман, не знаю... но мы... — здесь ей следовало остановиться, потому что всё уже было сказано, всё сказано, проговорено и продолжению не подлежало, ибо что, кроме нелепой случайности или обмана, могло привести её к дверям моего дома и, что кроме она могла принести с собой мне,

давно решившему обмануться, — но мы... прогорели. И теперь ничего нет: денег нет, товара нет, ничего нет.

Она беспомощно развела руками, показывая это ничего, его нехватность и беспредельность, а кот медленно попятился назад — он не любил сырость.

— Я не хотела, не предполагала, что так может получиться, — рыдала она, — Кир меня убедил, заверил... Я понимаю, как страшно, страшно подвела тебя, но что же теперь делать... Боже мой, как жестоко всё вышло, но не могу, не могу теперь...

Её плечи дрожали от рыданий, а на полу, до щиколоток, уже поднялось слёзное озеро, и плыл, тихо покачиваясь, обувной ящик рядом со сползшей от усталости половой щёткой, и вчерашняя газета опускалась на дно под тяжестью влаги, и письмо, полученное час назад, стремилось в приоткрытую дверь, а внизу слышались возбуждённые голоса соседей, обнаруживших первые признаки потопа, я же стоял, просто стоял, не догадываясь даже предложить пройти своей долгожданной гостью, не останавливая эти слёзы, а ожидая ещё чего-то, худшего.

— Мне стыдно, что так получилось, но это судьба, да? Ведь говорят — это судьба, значит, ничего не поделаешь. Ничего, ничего не поделаешь... Ты стойкий, я знаю, ты со всем справишься, ты легко относишься к жизни, а Алибхан всё-таки одноклассник... Жаль, что тебе пришлось взять у него эти деньги, но что теперь, что теперь... Я очень люблю тебя, спасибо, я думаю — всё наладится...

Оленьи рога скрипнули под тяжестью моего кота, и я обнаружил, что слышать признание в любви не то же самое, что представлять его в вечерних мечтаниях.

— Пойдём, — я взял её за руку, — хватит стоять в коридоре, пойдём в комнату. Не нужно больше плакать, действительно, всё наладится, всё закончится, потому что всё заканчивается. Заходи, мы поговорим и выпьем кофе, или ещё чего-нибудь выпьем.

И на мгновение мне показалось, что она войдёт сейчас в мою комнату и сядет в большое кресло у окна, и я смогу её утешить и отодвинуть бесконечные истеричные слёзы за порог моего дома, и ревнивый кот попросит её ласки, и она останется здесь навсегда, а потом... потом мы и вправду что-нибудь придумаем.

— Нет, — она осторожно высвободилась, — нет, я тороплюсь. Я с удовольствием бы, но извини... — она достала из сумочки платочек и принялась возить им по лицу, судорожно всхлипывая, — я зашла попрощаться. Я... уезжаю, совсем уезжаю... Нет, не одна... Я не хочу лгать, да, это сделка, в некотором роде сделка, но я поняла теперь, что сама никогда не выбьюсь, ничего не смогу — я беспомощна, ты был прав, эта гонка на выживание не для меня, эти поездки, товары, этот кошмар не для меня, ты был прав, я просто поняла, что я ничто в этом мире, букашка, которую растопчут или загонят в пыль, если, если я не найду человека, который всё это сделает за меня, который создаст мне условия для существования, и мне повезло, фантастически повезло — я нашла такого человека. И не хочу врать — это удача, моя удача, которую нельзя упустить, которая бывает только раз, это мой единственно возможный вариант счастливой жизни, а уверенность и покой — это уже счастье, да? Через неделю мы уезжаем... Я... тебе очень благодарна.

Она быстро коснулась влажными губами моей щеки и выбежала в коридор, не успев услышать злорадного хихиканья бараньих рогов.

Кот мягко прыгнул мне на плечо, а я ещё постоял некоторое время в коридоре, покачиваясь с носков на пятки и обратно. Что может быть глупее классических ситуаций? Правда, эта мысль пришла ко мне позже.

\*\*\*

Жертвенность — это свойство врождённое или приобретаемое? И действительное или страдательное причастие «обречён»? Столь важные грамматические и этические вопросы занимали меня в странные последующие дни, когда я, отключив телефон и отдав на время возмущённого мнимым предательством кота соседке, скрывался на даче сослуживца от квадратноплечих приятелей Алибхана. Я выходил по утрам в сад, и рвал спелую тёмно-бордовую малину, и слушал чирикание робких пригородных птиц, и следил часами за передвижением тени, отбрасываемой старой яблоней, а где-то в неведомом мне пространстве неумолимо тикали таинственные ходики, наращивая незримые пока, но вполне ощутимые в цифрах и воздействии своём на грядущее проценты — рыночное таинство, овеещающее ход времени.

Конечно, я предполагал, что выход есть, и рассматривал все возможные варианты, которых оказалось на удивление мало. Продавать мне было нечего — так, по крайней мере, поначалу заклинал я себя — квартира юридически принадлежала не мне, а моей бабушке, драгоценностей не было, перезанять не у кого, да и проблему этим не решишь, оставалось — бежать.

Бежать, бежать, бежать! Исчезнув из дома, испариться с работы, стереться из памяти знакомых. Сесть на поезд, самолёт, автомобиль или уйти пешком. С маленьким чемоданчиком в руке и паспортом несуществующей страны в кармане отправиться в несуществовавшие ранее страны. Потеряться в огромном городе, на забытом хуторе, в туристической прогулке по таёжным тропам. Слиться с вечным племенем убегающих, называться разными именами, менять стоянки. Не может не найтись такого места, в котором и нам, беглецам извечных кредиторов, не найдётся уголок на месяц или на год, а то и

навсегда, хотя вряд ли навсегда, вряд ли, и уподобимся мы зайцам, скачками улепётывающим от лисы, вздрагивающим от малейшего шороха и дающим стрекача уже и тогда, когда лиса давным-давно пропала, исчезла, затерялась в созданных жертвой следах — петлях времени, — но в сознании загоняемого осталась всё столь же реальной, ибо нет ничего реальнее преследователя в сознании жертвы. А значит, и бежать невозможно, совершенно невозможно, ибо если не наяву, то в тяжёлом утреннем сне всё равно догонят, изловят, чувствуя притяжение вечной метки — моего бубнового туза, — проставленной раз и навсегда на всём племени меченых. И потому, прекратив свой незапланированный дачный отпуск, я вернулся в город, заскочил на минуту домой и отправился к Сеньке Шехтеру.

— Это всё нелепость, — сказал Сенька, подливая водки в стаканы, — ты не думай, что я не понимаю, я всё понимаю, но ты должен, раз ситуация такая, и я должен поступить именно так, потому что другого выхода и у меня нет.

Сенька был счастлив, оттого и смущён. Ему неловко было радоваться открыто и чисто, но невозможно было и скрывать эту радость.

— Для тебя это не существенно, — продолжал он, сбрасывая на пол пустую пластиковую бутылку из-под водки, — эпизод твоей умственной жизни, только эпизод, потому что башка у тебя особая. Это для меня...

Открывалась новая бутылка, терпко пахло заморским табаком, и мир за окном прятал свой клоуновский оскал, казался вполне добродушным и уютным.

— Я не сволочь, — почти плакал Сенька, прижимая к себе рюмку так, что брызги стекла, не выдержавшего напора его страстей, испуганно прыскали на пол, — я средний человек, обыкновенный средний человечиска, как у Гоголя, этот, помнишь, который шинель хотел, без неё холодно, а взять негде... Ты свою ещё возмёшь,



а я-то — никогда. Никогда! А так даже справедливость... Ведь не считаешь же ты меня сволочью?

Сенька быстро наклонялся ко мне и, громко дыша, требовательно ждал моего: «Не считаю». И тогда успокаивался, наливал по новой и вновь стыдливо прятал свою радость; странно, но и при нашей первой встрече, на зачислении, в толпе ждущих приговора абитуриентов биофака, он сразу запомнился этой смущённой радостью, обилием стыдящегося самого себя счастья, хлынувшего из него при объявлении стоящей чуть ли не в самом конце списка его фамилии.

Уже выпито было достаточно, чтобы расслабленная невесомость опьянения грозила перерасти в тугую тяжесть, уже всё было сказано и закончено, и мы совершили свою странную сделку, и поели, и выпили, и вспомнили университет... И стремительно отставала пущенная по моему следу лиса, ибо лежащих в моей сумке спелёнутых банком бумажных пачек было вполне достаточно для утоления её аппетита, а Сенька всё меньше скрывал удовлетворённость, поглядывая на ящик своего стола, в котором покоилась теперь моя... моя-не моя работа.

— Зачем она тебе, Сеня? — спросил я, — зачем? Ты же бросил биологию...

Да, он бросил биологию, и, может быть, потому так удивила меня его просьба, полусумасшедшая просьба, торопливо, сбивчиво, с горячечной страстностью неутолённого желания высказанная впервые год назад, когда, придя ко мне на работу в перерыв и поймав в коридоре, он начал просить, умолять, требовать продать ему моё ещё вовсе и не готовое исследование, моё осмысление происходящего в глубине царицы мира Её Величества Клетки, мои дерзкие строки, подгоняемые пагубной страстью познания, заполученной прадедушкой Адамом вместе с кусочком отравленного ею яблока.

А позже месяца три Сенька регулярно приходил ко мне и выпрашивал снова и снова, называя неуклонно ра-

стущую сумму и уходя с потухшими, безрадостными глазами.

— Зачем она тебе, Сеня? — спросил я, потому что не понимал.

Сеня взвился со стула, подлетев в воздухе сантиметров на двадцать, схватился за стол, чтобы не отнесло в сторону, и удивлённо принялся объяснять, вскидывая светло-лучистой своей головой:

— Как же ты не понимаешь? Для уважения. Для самоуважения. Уехать хочу, давно хочу, ты знаешь. Но как я так поеду, кем я поеду? Никем — не желаю! А её привезу — и сразу имя, уважение, положение... Я смогу, смогу на этом сделать и имя, и положение, там — смогу. И чем бы потом ни занимался — никем уже не буду. Это — моя шинель, моя защита от холода. Там будет шинелью, всё не с нуля, не с нуля...

Сенька осоловел вдруг и грузно опустился на стул.

— Разве я виноват? — прошептал он. — Разве я виноват, что ничегошеньки не могу? Вернее, так, обывательски, всё нормально и даже преуспеваю, зачем же хотеть иного... Если бы не знать, не хотеть, не ощущать... Бездарь, бестолочь. Я реалист, я всё понимаю. Но я не сволочь!

Он почти рухнул на меня, и пришлось вновь повторить: «Нет, ты не сволочь, Сеня», — тем более, что это было правдой.

— Я её хорошо устрою, поверь мне, — возбуждённо выкрикивал Сенька, — так хорошо, как и не снилось. Я давно, ещё год назад, все каналы прощупал, заинтересованных фирм список составил. Тут просто ловкость некая нужна и осторожность. Ты не беспокойся, всё по высшему разряду пройдёт, — он бросил вождедеющий взгляд на ящик стола, — она и оценена, и востребована будет. Я её подтолкну, она меня потянет.

Сенька помолчал недолго, подыскивая новые, убеждающие, уговаривающие слова — ему казалось, что

такие слова необходимы, их нужно, должно произнести, а пьяный мир за окном лишь глупо улыбался и слушал, потому что пьяному легко говорить, но трудно слушать.

И я тоже почти не слышал бредовых Сенькиных слов, древние токи хмеля примирили меня со всем сущим и с тем, что совершилось и будет совершено. И пусть я продаю то, что продаже не подлежит, но продаётся столько же, сколько существует человечество, я продаю единственное, что могу продать, и мне грустно и весело, грустно, потому что от этой продажи я так долго зарекался, а вышло, что потому и продаю, весело, оттого, что это старый и надёжный путь, по которому шли и более достойные, чем я, позволяющие записывать за собой, не сверяя текста, и повторять тысячелетиями, не вникая в смысл повторяемого. И имя не согласовывалось с письменами, или письмена не согласовывались с именем, и написать не так, как было сказано, под знаком этого имени или написать так, как сказано, но под иным именем — суть одно и то же, и последнее даже лучше.

Я уходил от Сеньки, и сизые вечерние облака, подёрнутые закатным светом, бежали впереди меня на темнеющем небе. И редкие прохожие почему-то спешили к обочине тротуара, избегая встречи с моей улыбкой, а независимый кобелёк, трусивший впереди один, без хозяйина, остановился и задрал ногу. Я шёл к себе, как идут в неведомое, и уже не ждал, совсем не ждал тебя, моя милая, ни облика твоего, ни голоса не думал когда-нибудь увидеть, услышать, но в почтовом ящике между тошнотворно пахнущих типографской краской газет лежал листочек из обычной школьной тетради, по которому плыли крупные буквы, торопливо выписанные синим фломастером, одно слово, вновь повторённое, без подписи — «прости».

Я улыбался, поднимаясь по ступеням, — хотя, кажется, я ещё и не смывал своей улыбки, — я улыбался, лоя ключом замочную щёлку, и улыбался, скидывая обувь.

Я плачу за каждую твою улыбку, милая, за каждый укор и каждое мгновение твоего равнодушия, но я не тягочусь этой платой, ибо плачу только за то, за что желаю платить, и моя наивная глупость, пардон, — игра — потребовала, как и все игры, определённой ставки. Я проиграл и оставляю себе то, что могло бы быть, поручая тебе то, что случилось.

Сзади толкалась в дверь соседка, подглядывшая моё возвращение, возбуждённо рассказывала, какие странные люди меня спрашивали в эти дни и чем она кормила моего кота, осторожно меня сейчас обнюхивающего. Притихли рога на стене, и неприступной крепостью возвышался на столе микроскоп. В комнате было душно — я открыл окна и не стал закрывать двери, впуская вечерний ветер.

Тихо запело радио, зазвучал протяжно кобыз, в руке таял, пачкая синим ладонь, тетрадный листочек.

Милая! Могу ли я простить тебя, ведь для того чтобы простить, нужно обвинить вначале, а обвинить тебя выше моих сил, моих скудных возможностей, при которых я не могу утешить тебя и высушить жертвенные слёзы, не могу построить дворец с удвоенными отдельными санузлами и даже не могу соорудить ненужный тебе шалаш в своём частном владении, которого не имеется, — я могу лишь смеяться над этой жизнью и перекладывать в новые рисунки кусочки её мозаичного полотна, но ты всё равно не увидишь свежесть нового узора и не позволишь моему коту тереться о твои ноги. Милая, мы вступили в эпоху распродажи, великой распродажи наших индивидуальных дорог, и кто обвинит продавшего сущность свою за нескончаемый кусок хлеба? Никто, никогда, да никто и не поймёт, что продано, ибо никто не знает нас лучше нас самих; да и судьба века не оскудеет — сработает, наверное, таинственный закон всеобщей компенсации, — и потомки не осудят, им посытнее будет, а чего не добавлено, о том и не догадаются — всего лишь на уровне каждой судьбы продажа, всего лишь судьба

— товар — деньги, и оборот замыкается. И я пожалею, что не смог совершить выгодную сделку (а в ней ставка ты, дорогая) и остался в пустой комнате с мурлыкающим котом, для которого я — изначален.

## ДУША И ТЕЛО

### ТЕЛО

У тела не было души. Но оно не знало об этом. Не заметило, не почувствовало. Так и проходило телом. Пока не исчезло.

У тела не было души. И оно понимало — чего-то не хватает. От этого маялось порой, металось. Всё время желало чего-то, только чего — не ясно. Не догадывалось, что это душа. Так и бытовало, пока не исчезло.

У тела была душа. Но очень маленькая, так, душонка. Она пряталась уютно где-то внутри и лишь изредка беспокоила тело. Иногда ей грезилось, что она вырастет и станет большой. Иногда ей даже хотелось вырасти. Она понимала, что это возможно. Но было так уютно и спокойно внутри тела. И ему хорошо, комфортно с маленькой душой где-то в уголочке, внутри.

У тела была душа. Как раз по размеру. Один к одному. И пребывало тело с душой в гармонии. Что душа — что тело. Вечное перетекание, замечательная согласованность. И душе хорошо, и телу. Непонятно, где заканчивается одно и начинается другое.

У тела была душа. Огромная. Много-много больше тела. Она распирала тело изнутри, давила на него. И

тело трепетало, гонимое душою то с целью, то без цели. Иногда душа раздувалась и поднималась над телом, как огромный воздушный шар, и тело подлетало кверху, трепетало наверху, содрогалось от страха перед высотой. Душа тяготилась телом, и телу было неудобно — знало, что когда-нибудь не выдержит и просто разлетится под напором этой огромной души.

## ДУША

У души не было тела. Но ей объяснили, что нужно срочно его найти. Иначе она будет никчёмной душой, вернее, ничейной. А душа обязательно должна кому-нибудь принадлежать. И в теле, и после.

Душа не бывает просто так. Она — чья-то.

Ей не хотелось быть чьей-то. Но приходилось. Всё время. «Моя душа», — говорили ей. И она терпела. Иногда правда мечтала: каково это — быть ничьей душой?

Мечтала, и её наполняла тоска. Ничейная.

Иногда душа думала: кто он, тот, кто говорит «моя»? Он явно имеет какое-то отношение к телу, но не является им. Душе хотелось увидеть его. Но она лишь слышала настойчивое «моя», «моя»... И понимала, что, возможно, встретиться им никогда не удастся.

## ЗАКРЫТАЯ ПЛАНЕТА

*Дух, как на царство, на счастье венчается...*  
Вяч. Иванов

Планета была наивно спокойной. Уже две недели работали на ней люди, две недели брали пробы грунта и воды, образцы флоры и фауны, уже были заполнены контейнеры и лихорадочно завершались последние предлётные дела.

Но Планета не замечала непрошенных гостей с неба.

А люди торопились: редкая им выпала удача — эта была лишь третья достижимая планета с жизнью и Первая экспедиция на неё. На двух других ранее обнаруженных планетах жизнь была примитивной, на уровне лишайников, здесь же тянулись к пепельному небу огромные древесные травы, гудели в воздухе миллиарды насекомых, шныряли в густых зарослях причудливые мохнатые, зубастые существа. Притяжение на Планете было несколько меньше, чем на Земле, поэтому все растения и животные были выше и тоньше. Разумной жизни на Планете не было, но это и не огорчало экипаж.

До отлёта с Планеты оставалось два дня. Два последних дня, и нескоро теперь будет Вторая экспедиция, слишком далеко от родной Земли находилась Планета. Люди спешили. Обилие «материала» завораживало. Каждый понимал, что судьба может однажды подарить



встречу с иным, чужим миром, и старался сделать максимально много, прежде чем пуститься в тяжёлый и мучительно желанный путь домой. Тут и произошло событие, повлёкшее знаменитый Запрет на полёты на эту Планету.

Всё началось с того, что второй пилот Бен Сартр, находясь вне корабля, снял скафандр.

Когда первый пилот, Александр Аннов, увидел Бена, идущего без скафандра между больших фиолетовых цветов, он не сразу поверил в реальность происходящего. Состав воздуха на Планете был пригоден для дыхания человека, но неизвестная, чуждая микросреда, конечно же, не допускала никаких непосредственных контактов. Но Бен действительно шёл без скафандра, беззащитный перед невидимыми врагами Планеты. В это время Бен должен был пополнять «гербарий» корабля.

Аннов вызвал Бена по рации. Ответа не было, и Аннов опомнился — переговорного устройства у Бена нет, оно встроено в скафандр. Должно быть, что-то случилось, скафандр был необратимо повреждён, и его пришлось снять, но Бен не дал ракеты — сигнал беды, не вызвал на переговоры, да и сейчас не торопился к кораблю, напротив, спокойно шёл в противоположную сторону. Аннов сорвал предохранитель с красного рычажка на переговорном устройстве и дёрнул рычажок вниз, объявляя общую тревогу.

\*\*\*

Мир многолик, многопрекрасен. Прекрасны все и всё: и эти длинные, вверх уходящие травы, и эти смешные усатые существа, шмыгающие под ногами, и все крылатые, многоногие насекомые вокруг. Я уже давно не замечал, что мир так прекрасен. Кажется, это было лишь

в детстве, когда в добрые таинственные минуты становился волшебным наш сад, когда деревья оборачивались заколдованными замками дриад, а цветы — принцессами, закутанными в яркие китайские шелка, когда оживала даже сухая веточка, превращаясь в коня для голенастого богомола или в невиданное животное. В детстве часто обыденные, привычные вещи обретали вторую, куда более удивительную и чудесную жизнь. Книжный шкаф казался неприступной крепостью, аквариум — морем, заржавленная цепочка — всемогущим змеем. Всё начинало разговаривать, спорить, порою драться, пускаться во всевозможные приключения и путешествия, и мне было очень уютно в этом призрачном мире, я никогда не чувствовал себя там чужим, мне было там хорошо. Но потом захватила новизна жизни невыдуманной (или мне показалось, что невыдуманной?), потом завертели, закружили дела и заботы, и я был не последним, и мне вроде было неплохо... но только теперь я понял весь этот обман.

Нет, ещё в юности мне было так хорошо, в юности, когда я любил женщину. Я ждал её в студенческом парке, и вокруг был разлит дурманящий весенний аромат деревьев, я замечал уже позабытые детские краски мира, я снова научился видеть прекрасное и снова, рядом с моей Женщиной, чувствовал единение с жизнью. Мир бесшумно раздвигался, и наркотический запах беспредельности касался моих ноздрей, рассказывая о далёких звёздах, проверяя их родство со мной.

Может быть, поэтому Вселенная и стала моим долгим домом, моей страстью, безумной мечтой, заменившей мне ушедшую женщину.

И вот я снова счастлив, потому что знаю наконец, что это такое — счастье, чувствую его всей кожей, дышу им и...

Боже, как хорошо!

Какое-то небольшое пушистое существо коснулось моей ноги, посмотрело на меня россыпью своих глаз-бу-

синок. Мне захотелось наклониться, потрепать его по зелёной холке, но что-то остановило. Что? Инстинкт или несброшенный ещё, выработанный годами тренировок рефлекс сверхосторожности? Но я не хочу возвращаться в круг невольных запретов, я не хочу отрываться от прекрасного приобретённого мира!

Я почувствовал его совсем недавно, совсем недавно... не помню, час ли назад или уже несколько часов... Время исчезает, становится несущественным... А я когда-то лишь мечтал забыть о неумолимо подгоняющем времени!

Я шёл среди густо переплетённых трав, высоких и сочных, и вдруг понял, что могу стать счастливым сейчас, могу стать счастливым именно сейчас, что это мой последний шанс и последняя надежда. Нет, я не стремился к счастью как к единственной цели, просто не думал о нём или представлял ложно... Я всегда считал, что знаю свои желания — у меня их было немало, но я достигал своего, умел трудиться (забавно, что я думаю о себе в прошедшем времени, наверное, я стал свободным); и всегда лёгкий осадок неудовлетворённости, еле заметная трещинка ущербности были во мне, и снова, снова начинался изнурительный путь к следующему условному рубежу. Бесконечный, изматывающий душу путь. И только здесь, на этой Планете, я узнал, что единственным смыслом моей жизни было счастье, что именно его я добивался все годы, но лишь отодвигал от себя, не зная, что это такое и как, где мне его искать.

И вот мгновение назад я понял, всё понял и про себя, и про всю великую жизнь. Счастье — смысл существования, и нужно для него чувствовать себя живым, ежесекундно живым, и ощущать жизнь вокруг себя, слиться, объединиться с ней, стать частицей её величия, клеточкой, соединённой со всеми остальными живыми клеточками всей бесконечной Вселенной, раствориться в дивном мире вечных изменений полностью, без остатка,

чувствовать счастье, лишённое временных и пространственных рамок.

Озарение пришло сразу и было настолько велико, настолько ослепительно, что даже сожаление о потерянных годах исчезло в нём секундным лёгким облачком. Эта Планета была моей планетой, такой же моей, как и все другие планеты Вселенной, но я был всё же отгорожен от неё, меня ещё отделяли от счастья все мои прошлые времена; я торопился — я сдёрнул тяжёлый и тесный, как тесна любая клетка, скафандр, я бросил его на землю так поспешно, словно он мог вцепиться в меня и остановить, и освободился, освободился полностью; ветер, благословенный ветер овеял мою кожу, сдувая остатки прежних сомнений, и я стал счастливым, слился со Вселенным чудом жизни. Я пошёл вперёд, сначала по намеченному прежде маршруту, но потом опомнился и шагнул в сторону, не пытаясь определить куда.

Я руками раздвигал хрустящие, остро пахнущие стволы, я чувствовал их нежную шероховатость, их упорное нежелание согнуться под моими уставшими и очерствевшими от прикосновений мёртвых вещей ладонями, я получал неслыханное удовольствие от своего лёгкого шага, от звуков травяного леса, от мерно-белого цвета незнакомой звезды, ставшей моим Солнцем, я впитывал в себя всё бытие, я шёл. Но вот впереди заблестела вода — мелкий ручеёк струился меж зелёных корней, подземный ключ. Я припал к нему: я никогда не пил из ручья! Мои губы коснулись неуловимой прохладной свежести, я набрал воды в рот — заломило от холода скулы, острая болезненность прошла по зубам, и сладость, неизъяснимая сладость воды проникла во всего меня, обновила и словно создала вновь. Я глотал воду долго, я не мог покинуть это чудо, я испытывал самое острое блаженство, какое только может испытывать человек. Потом отдыхал, сидел у ручья и слушал его голос.

И вот иду дальше, не выбирая направления, не думая куда, и здесь тоже кроется радость — в этом бесцельном, свободном и вечном движении. Вдруг какой-то звук, выпадающий из гармонии мира, поразил меня. Что-то стороннее, неприятное... Я вынужден был обернуться. «Бе-ен, Бе-ен, остановись!» — кричало страшное, неуклюжее существо, бегущее далеко позади. Крик мне не понравился: он создавал преграду, тонкую неуловимую преграду между мной и жизнью, он мешал моему счастью. Потом я понял, что это был Аннов. Конечно, Аннов, и бежит он всегда так: резко выбрасывая вперёд ноги. Забыл разве, что здесь сила притяжения меньше? И кричит. Наверное, вывел наружу усилитель переговорного устройства... Он приближается ко мне. Но чего он хочет? Да ведь он не понимает, не понимает ещё, что такое счастье, он там, в разобщении, в скафандре. И он хочет вернуть меня, вернуть к непониманию.

Я побежал. Бежать без скафандра легче, и я нырнул в самые заросли древовидной травы, чтобы Аннов не мог воспользоваться техническими преимуществами скафандра, чтобы не смог разрушить гармонию.

Он всё что-то кричал мне вслед, но я не слушал: к чему мне его слова? Я без труда спрятался и смеялся, так хорошо смеялся, как смеются лишь в детстве и никогда больше. Я был рад, что так всё удалось, я легко обогнал его, и мне теперь не могли помешать.

Но если он будет меня искать? Он ведь вспомнит, что я должен собирать гербарий, да и ещё много чего должен. Он не знает, что счастье даёт свободу от всех странных, искусственных слов «надо», «нужно», «должен», что для счастья достаточно познания счастья — и ничего более. Мне не нужны их дела и слова, я долго создавал себе иллюзии бытия с помощью этих дел и слов. Он ребёнок, ребёнок передо мной, знающим, он ещё играет в дела и заботы, он в другой, фальшивой жизни, но мне придётся избегать его, его и всех других,

потому что, я чувствую, они далеки от понимания, я ничего не смогу объяснить им, пока они сами не захотят стать свободными и счастливыми.

Мне нужно прятаться: у них есть много приборов, способных видеть и слышать на многие километры вокруг, значит, мне надо хорошо прятаться, пока они не улетят, а это уже скоро...

А если меня будет искать Артур? Мы дружны с ним, много лет мы связаны этими странными узами настоящей дружбы, и в экспедиции мы вместе... Смогу ли убедить его? Какое-то предчувствие, предвидение говорит мне, что нет. Артур ещё не дорос, ему рано... А если он не поймёт никогда? Мысли об Артуре мешают моему счастью, появляется трещинка, еле заметная трещинка между мной и жизнью вокруг, жизнью во Вселенной. Артур наверняка сказал бы, что и на Земле жизнь. Но там я не нашёл единения, там нет такой возможности. Какой возможности? Неужели погоня так напугала меня, что я стал путаться, потерял чёткую нить мысли... О чём я сейчас?.. Да, мысли, мысли тоже мешают, они отвлекают от полноты существования, требуется только чувствовать ветер и воду, тепло и прохладу, влажность листьев и шероховатость камней... Боже, как мне хорошо!

Я бродил ещё долго, наверное, я впитывал в себя окружающий мир и становился им, я стал необъятным и бесконечным, я снял вызывающие отвращение тряпки и выбросил их, я учился чувствовать своё тело как часть большого тела Вселенной...

...Треснувший под моей ладонью стебель выпачкал мне своим клейким соком руки. Я с наслаждением смотрел, как ползут по моим рукам тонкие, густые струйки, пахнущие чуть терпко и бодряще.

Потом слушал слова, громкие, настойчивые слова, гремящие над лесом: «Бен, ты тяжело болен, вернись на корабль, очень прошу тебя, немедленно вернись на корабль». Это говорил Артур. Он редко говорит чепуху, но

сегодня с ним что-то случилось. Впрочем, он просто не понимает. Разве болен я? Я до краёв наполнен счастьем, каждая моя молекула трепещет от радости, я здоров, как никогда, я здоровее возможного. Зачем мне нужно возвращаться на корабль? Для того чтобы снова влезть в синтетические шкуры и дышать мёртвым воздухом? Чтобы снова приняться за иллюзорные дела, бессмысленность которых очевидна? А объяснить им я ничего не смогу. Я уверен, что не смогу, знаю это, потому что обрёл великое тайное знание сущего, я знаю без усилий, я различаю истину, как различают свет и тьму. Мне нельзя возвращаться на корабль, я боюсь его обитателей, они для меня — чуждое и ненужное, они уничтожат моё счастье. Я уйду дальше, в дебри милого леса, я буду жить в нём, а он — во мне, я буду избегать летающих аппаратов корабля, буду прятаться в тёмных земляных норах, которых здесь множество, и буду счастлив, бесконечно счастлив, бесчисленное количество мгновений!

\*\*\*

Бена Сартра только поздним вечером обнаружил Артур Сараянц. Он нашёл его в тёмном скрипящем лесу, уже облепленного мириадами насекомых, совершенно нагого и мёртвого. Позже выяснилось, что смерть вызвали бактерии, во множестве обитающие в водах Планеты.

Это трагическое происшествие тщательно анализировалось крупнейшими специалистами Земли. Искали причины странного поведения Бена. Предполагалось психическое расстройство. Но после того как во время Второй экспедиции произошёл подобный случай, Планету объявили закрытой.

## ПРИВИДЕНИЕ

В доме моей тётки живёт привидение. Да-да, в обычном маленьком одноэтажном доме частного сектора Алма-Аты живёт самое настоящее привидение. Привидение фамильное, очень древнее, с уже богатой событиями привиденческой жизнью. В отличие от всех других привидений земного шара, это имело обыкновение менять место жительства. Вы не ослышались, привидение действительно время от времени переезжало, вместе с тёткой. Так, в Алма-Ату оно попало из Самарканда, а туда — из Ленинграда. Но и до Ленинграда привидению приходилось много путешествовать, потому что тётка моя является великой непоседой и за свои восемьдесят семь лет объездила многие места просторной страны. И привидение путешествовало вместе с нею в стареньком удобном саквояже, куда тётка заботливо стелила кусок бордового бархата.

Очень давно, уже не вспомнить, когда точно, жил один человек, великий любитель книги. Сейчас таких называют библиоманами. Всю свою жизнь собирал он книги. Всю свою жизнь собирал он книги, с благоговением прочитывал их, если была надобность — реставрировал и заполнял, заставлял бесчисленные полки своего длинного коренастого дома. Своих детей у этого страстного книголюба не было, и он воспитывал приёмыва, будущего тёткиного прапрадеда, основателя династии новгород-



ских букинистов. Но пока ребёнок рос среди книжных залежей, библиоман наш увлёкся древнейшей и всесильнейшей наукой, а именно — белой и чёрной магией. Толстые фолианты со следами прикосновения столетий на кожаных переплётках раскрывали ему удивительные тайны магических кругов и квадратов, сладкую вязь певучих заклинаний, восхитительный ужас проникновения в будущее. Будущее, однако, открыло ему не все тайны, иначе сумел бы он избежать падения плохо закреплённой книжной полки на свою полысевшую от усердного чтения голову. Так закончилась жизнь страстного библиофила и любителя магии, интерес к которой он всё же оставил наследникам наряду с книгами, а в доме... в доме появилось привидение.

Все последующие поколения этого дома привидение любили как члена семьи, иные — даже чтили. А страстью семьи и основным занятием оставалась книга. Пришло время — и были открыты букинистические магазины, книга стала основным источником дохода. Не забывалась и чёрная магия. Не было женщины в этом доме, не умеющей гадать или приворожить чьё-то сердечко. И не было мужчины, не считавшего приятелем себе хотя бы одного духа. Особенно страстным колдуном оказался отец тётки, старший брат моего деда. Чернокнижие поглотило всё его время. Он не ведал ни забав, ни развлечений, собственных молодым людям, он почти не выходил на улицу, проводя целые дни в тёмном подвальчике, названном им чародейской лабораторией. В этом подвальчике испытывал он старые заклинания и изобретал новые, беседовал о тайнах бытия с потусторонним, гостями и варил чудодейственные эликсиры.

Возможно, тётка унаследовала многие его умения и знания, во всяком случае, рождение её не было обычным. По семейному преданию, когда тётка издала первый свой крик на нашей ко всему привыкшей земле, с ясного звёздного ночного неба пошёл дождь, неожиданно

заработали давно сломанные часы, радостно засмеялось привидение, а на письменном столе были обнаружены пять голубеньких светлячков. И в дальнейшем тётя не переставала удивлять родных. Первым её словом, вернее, не словом, а целой фразой, было: «А почему люди мечтают?» В пять лет тётя уже умела с первого взгляда отличить хорошего человека от плохого, могла угадывать скрытые подлости под благообразной физиономией и не смущалась сообщать об этом, к радости своих родителей и неудовольствию соседей. Так, однажды она сразу разоблачила даже местного губернатора, сказав, что он трусоват и украл не всю казну, а только половину. Тётин папа сильно пострадал после того случая, спас его только малый тётин возраст. Но тётю никто не укорял — в этой семье понимали, как легко погасить природный дар.

А привидение сразу, с самого раннего тётинного детства искренне привязалось к ней. Привидение играло с тётей в прятки, учило тётю читать письма линий на человеческих ладонях, рассказывало тётю потусторонние сплетни и заставляло каждый день на ночь повторять заклинания на четырёх древнейших языках. Тётя, существо любвеобильное и привязчивое, уже и не мыслила свою жизнь без доброго друга привидения. Тем более это привидение не будило без надобности по ночам, не громыхало цепями (их у него не было), не издавало стоны и крики, не оставляло кровавых пятен на паркете. Это было доброе и милое привидение, да к тому же очень начитанное. Беседовать с ним — одно удовольствие.

Но время шло, тётя подрастала, хорошела и мудрела, а в стареньком доме время струилось по-прежнему медленно и спокойно. И тётя стала почему-то грустить, чаще засиживаться в вечернем саду, реже листать потрёпанные томики книг. Что-то непонятное творилось с нею. Чего-то ей не хватало в привычном спокойном мире. Одной лунной ночью она даже ходила на кладбище посоветоваться с ветхой полночной ведьмой. Ведьма ей ничего

не сказала, но дала ленточку. Не какую-нибудь колдовскую, а самую обыкновенную ленточку голубого цвета, с обтрёпанными краями. И пронцательная тётя не сразу поняла смысл этого подарка. Привидение-то сообразило, в чём тут дело, да молчало — ему это не нравилось.

А-а, дорогой читатель, вижу, вижу, что решил ты, объяснил ты всё дело любовной тоскою, да ошибся — не маются любовью черноокие ведуньи-девы, уж если случится сердцу полюбить, так лишь взгляда, лишь слова достаточно — рядом избранник, да только чаще по ним, по чернооким девам тоскуют, о них думают бессонными ночами, в их безжалостных глазах мечтают заметить огонёк взаимности.

И юная моя тётя страдала совсем по иной причине. Тесен стал ей уютный домашний мирок, не домоседкой родилась она, а странницей. Был любознательности её путь — шагать по белу свету среди разных людей и событий. Дорогу должна была напомнить ей ленточка, и без подсказки привидения тётя в конце концов поняла смысл ведьминога подарка.

Характера тётя была твердого, трудности и опасности её не пугали. Но всё же подождала она ещё годок. Дабы не слишком огорчить родителей уходом в столь хрупком возрасте.

Так уж повелось, что все привидения живут в фамильных замках, старинных домах, прописки не меняют, как не меняют своих столетних привычек. Такова традиция. Привидения привязаны к дому, а не к обитателям. Но в данном случае многое было не по привиденческим правилам. Привидений принято бояться, привидениями принято гордиться, а здесь с привидением дружили, здесь его любили и уважали не только за принадлежность к роду привидений.

И привидение тоже решило рискнуть. В ночь перед тётиним отъездом оно явилось у тётиной кровати и замогильным голосом поведало ей свою волю следовать

за тётей в любой конец света. Конечно, оно понимало, чем может обернуться для него это решение. Нарушение устава жизни привидений не могло пройти безнаказанным, нужно было ожидать всяческих неприятностей с того света, но привидение было ко всему готово и составило длиннейшую, на тридцати пяти простынях, объяснительную записку о мотивах своего поведения, о причинах, побуждавших его поступать подобным образом, и всё это было написано изящнейшим языком с применением блестящих риторических приёмов.

Тётя была очень растрогана. Она и не надеялась приобрести такого замечательного, многознающего спутника. Скорёхонько был освобождён тогда ещё новый саквояж, отрезан от шторы и уложен в него кусок бордового бархата, и утром нового дня моя тётя вместе с привидением отправилась по дорогам бесконечно разнообразной жизни.

Бурное и величественное было время. И трудновато приходилось поначалу тёте, много знавшей о потусторонних силах и почти ничего — о реальных, общественных. Не сразу смогла во всём разобраться, немало было сделано ошибок. Она прошла пешком пол-России, дивясь на места и людей, в Саратове закончила курсы медсестёр, работала при госпитале в конце Первой мировой. В семнадцатом вышла замуж за анархиста, но провозглашаемая им свобода показалась тёте тяжёлой. «Воздух у них с гнильцой», — говаривала. Союз этот распался легко и быстро, как, впрочем, и все последующие браки. Тётя вскоре очутилась в Красной Армии, оказывала помощь раненым, в конце двадцатых годов воевала со своим полком в Азии, в середине тридцатых осела на целых шесть лет в Одессе. Всюду ездило с ней и привидение, милое, верное привидение.

Куда бы тётя ни приезжала, она в первую очередь открывала саквояж и выпускала своего терпеливого друга. Конечно, привидению не всегда бывало уютно на лесном

привале или в крохотной комнатухе при лазарете, но оно старалось не обращать внимания на все эти неудобства, как когда-то смогло не заметить, вернее, сделать вид, что не заметило, выговора тёмных сил. Это было очень стойкое привидение. Иногда ему приходилось оберегать и саму тётю. Однажды в лесу оно разбудило тётю и поведало о крадущихся по тёмным тропинкам врагах, а когда в квартиру тёти, временное убежище в Туркестане, ворвались бандиты, привидение принялось так охать и ахать, так выкрикивать, стонать и шуршать, что взломщики решили, что напоролись на засаду, и поспешили убраться. Много, много было всего в этой странной походной жизни.

Тётя, как могла, берегла драгоценный саквояж, но был почти трагический случай, когда тётю, заболевшую тифом, в бреду увезли в госпиталь без саквояжа, где осталось запертое привидение. Тётя сильно горевала и томилась, к счастью, с саквояжем ничего не случилось, его сохранили тётнины боевые товарищи. Привидение долго потом ворчалось и жаловалось на онемевшие кости.

Конечно, вас всех интересует, как же относились к привидению тётнины друзья и знакомые? Но привидение старалось избегать лишней популярности, не показываться людям на глаза, хотя и случались, бывало, казусы.

Люди думали — померещилось, протирали глаза — точно, никого уж не было. Иногда какой-нибудь слабонервный тёттин приятель и начинал кричать, привидение, мол, видел, но его быстро обрывали дружным материалистическим смехом. Однажды в привидение даже стреляли, не разобрав, что к чему. Ему пальба по себе совсем не понравилась, и оно сказала тёте, что у неё поразительно невоспитанные знакомые. Рекламирывать себя привидение, естественно, не собиралось. Во-первых, это противоречило привиденческой этике, во-вторых, могло вызвать отрицательные изменения в человеческих представлениях о мире. Человеческое сознание

весьма хрупко, стоит ли перегружать его ещё и привидениями, выдержит ли оно? Кроме того, привидение опасалось, что его присутствие может навредить тёте.

Замуж тётя выходила не однажды. Некоторым излишне строгим моралистам может показаться, что даже слишком часто. Но такой уж человек моя тётя! Она легко привязывается к людям, легко влюбляется, увы, ненадолго. Уже через несколько дней, в крайнем случае — недель, тётя знала всё о своём очередном супруге. Все мысли его и помыслы, все дела прошлые и грядущие, всё становилось известным тёте, каждый раз, выходя замуж, тётя обещала не заглядывать в замутнённое свечами зеркало, не всматриваться в сверкающее водой блюдце, но не выдерживала. Что поделать, и у неё были свои слабости, и главным её пороком и достоинством была неисчерпаемая любознательность. Любознательность к людям и местам, любознательность не к сухим и отвлечённым наукам, а к живым характерам, к тонким ниточкам истории человеческих судеб. Тётя жила всегда очень счастливо, это было стилем её жизни, основным принципом. Она с интересом всматривалась в каждое человеческое лицо, и жизнь никогда ей не надоедала, она охотно и весело, без чувства жертвенности, помогала людям, охотно проводила с ними досуг, редко, очень редко оставалась она одна, да и то не одна — с привидением.

И хотя мужья её были людьми достойнейшими, мне кажется, что недюжинной, подобающей тёте личности среди них не было.

Перед замужеством тётя обязательно предупреждала избранника, что она немножко колдунья. Дабы не возникло потом недоразумений. Чаще всего не верили. Привидение по-разному относилось к этим новым домочадцам. С некоторыми даже дружило. А иным так ни разу и не показалось — не понравились они ему. В эту сторону тётинной жизни привидение не вмешивалось, сказывалось хорошее воспитание и прирождённое чувство такта.

В Великую Отечественную тётя снова была при военном госпитале, в сорок четвёртом вышла замуж за потерявшего семью офицера, после войны полтора года жила с ним в Берлине. Это был единственный тётин муж, которого она не бросила, — офицер погиб.

Познакомилась тётя с офицером при обстоятельствах странных и жёстких. Вечером, тёмным и промозглым, вышла она из дому по каким-то делам своим, да словно судьба за руку повела — зашла тётя в ненужный ей совершенно переулок, прошла вдоль чужих беспристрастных домов, всё без цели, по наитию внутреннему, а у ветхого газетного киоска и увидела его, седоволосого высокого мужчину в военной форме, строголицевого и уставшего. Он приблизился к тёте, спросил что-то пустячное, то ли как пройти куда, то ли другое что, да только поняла тётя, что пустой для него город, некуда и не к кому идти ему, что ни в прошлом, ни в будущем не ждали его уже — всё забрала война, сердце лишь оставила исстрадавшееся да светлый ум. Повела его тётя с собой, закружили их, заметелили последнее позднее его счастье да неисчерпанная её молодость женская. Пили они пригоршнями скупые минуты радости, знали цену им, зря не разбрасывали. А когда склонилась тётя трепетной ночью над зеркалом, раскидала состаренные руками карты, заохало-застонало за спиной у неё, заходили по стенам тени, размылись-расплавилась привычные контуры, и бешено заплясал огонёк керосиновой лампы. Заметалось то привидение, умоляя не торопить судьбу, не заглядывать в бездны времени, знание неотвратимого никому не давало покоя, никого не уберегло, не спасло. Не послушалась живая тётя умершей мудрости. А когда пришлось ей со следующего утра считать оставшиеся дни-недели короткого счастья да помнить, помнить, поняла она предупреждение старого друга.

И горше была любовь, и большее радость. И в глаза смотрела всегда в последний раз, и в слова вслушива-

лась, запоминала жесты, морщины и шрамы, всё, всё навек сохранить хотелось.

Может, оттого и счастье полным, без докук и разочарований было. Может, оттого и остался он последним, единственным.

На столе у тётки стоит портрет его. Тётка не любит фотографий, не терпит «плоских» изображений, её память хранит лик надёжнее, её память оставляет людей живыми, в движении, разговорах, поступках. Но о нём рассказывать она не хочет, лишь укажет на портрет, мол, сами думайте, и улыбнётся печально-просто. Для других портрет на столе её, а какой он на самом деле был, какой для неё — то крепко держит она в своём сердце, ни с кем не делится.

В конце сороковых — пятидесятых годов тётка работала в эпидемиологических экспедициях в Средней Азии. Побывала в степях и в горах.

В шестидесятых жила в Сибири. Выйдя на пенсию, всё равно ещё долго продолжала работать и ездить. Осела тётка в Алма-Ате лет десять назад. Купила маленький домик, выпустила — навсегда — из саквояжа привидение. Мне тётка сказала, что ей настала пора занять своё становище, а привидению пора вспомнить прекрасное чувство обладания домом.

Сейчас тётка ещё очень и очень бодра. Старость, кажется, коснулась только лица её, да и то не сильно. Тётка собирает вокруг себя, как и прежде, много людей. Иногда рассказывает о богатой своей жизни, чаще спрашивает, привычно любуясь человеком в человеке. А вечерами раскидывает новые, подаренные племянницей карты и видит в мозаичной россыпи повороты чужой судьбы. Тётка не отказывается погадать. И по руке, и по картам, и по бобам, да и просто так тётка прочтёт вашу судьбу, укажет ваши слабости, поможет найти свою дорогу. А если всё слишком запутано — посоветуется с привидением. Тётка говорит, что и гадание может помо-



гать людям, если гадает любящее людей сердце. А привидение обжилось. Ходит в гости к соседним домовым, особенно сдружилось с домовым районной библиотеки, пишет лунными лучами «Опыты путешествующего привидения» и осваивает игру на поющих песчинках.

После работы я люблю зайти к тётё, поговорить о прожитом, поболтать с привидением, послушать истории о великих магах прошлого и будущего. И тётя, и привидение — великолепные собеседники. Тётя усаживается за ободранный столик, зажигает чертёжную лампу, неизвестно как попавшую к ней, и начинает задорно, в ролях, рассказывать, а вырастает за её спиной бело-призрачное и добавляет в её повествование пропущенные тётей детали, часто и само ведёт рассказ, смущённо покашливая. И словно переносишься в то время, о котором слышишь, перевоплощаешься в тех людей. Тётя легко соединяет и твою жизнь, и свою, и жизнь неразгаданных тобою сил, в её мире всё возможно, всё интересно, всё прекрасно. Привидение деликатно подносит гостю чашечку чая, и становится совсем хорошо.

Если у вас будет время, заходите в маленький домик частного сектора Алма-Аты поболтать с моей тётей и привидением. Думаю, вам будет интересно.

## РЫБАЛКА

Иногда хотелось верить, что она всё-таки появится.

Тимка с неистощимым терпением часами смотрел на неподвижный поплавок, пока он вдруг, после едва заметного колыхания, не дёргался вниз — раз, и ещё, и ещё... Вместе с ним уходило в глубину и Тимкино сердце. Он хватал удилище, осторожно, останавливая даже дыхание на время, начинал тянуть на себя. Каждый раз с надеждой — вдруг это она, очень большая рыба?

В то, что очень большая рыба живёт в этом пруду, никто в деревне не верил. В нём вообще рыбы было мало. Даже чтобы мелочь наловить, требовалось полдня или полночи. А тут — очень большая рыба! Та, о которой только полоумный Тимкин дед рассказывал, то ли просто придумывая, то ли вполне намеренно запугивая внука. В этом пруду и купаться не разрешали — слишком глубоко и круто уходил вниз берег, — и рыбачить толку не было.

Но Тимка не сдавался. Каждый день приходил он к воде и ждал, ждал, что не мелочь какая-нибудь окажется на его крючке, и даже не местная достопримечательность — щука, выловленная когда-то одним из сельчан, а настоящая очень большая рыба. Подтягивая к себе леску, Тимка каждый раз, пока не разочаровывала его слабость натяжения, представлял, как в воде начинает извиваться, сначала медленно поводя хвостом, а потом всё быстрее и быстрее, рыба рыб, самая большая рыба.

Из глубокой впадины, таившейся почти у самого берега, смотрела часами вверх терпеливая и грустная очень большая рыба. Никто в пруду не верил, что ей улыбнётся удача, но рыба ждала, и её не смущали дни ожидания. Ей представлялось, что однажды специально для неё сверху, с таинственного, неприветливого чужого мира, упадёт небывалый подарок. Не тот извивающийся червячок, на которого она поглядывала с презрением, и не та плотвичка, что по глупости заглатывала червячка, — это для очень большой рыбы на один зубок. А что-нибудь необыкновенное, совершенно замечательное, особенное, достойное только её, очень большой рыбы. Например, тот мальчишка, изломанный силуэт которого она видела сквозь воду. Он всё, правда, не падал, но очень большая рыба ждала.

## НЕ БУДЬ ГАДОМ!

Быличка

*Марату Отыншиеву посвящается*

Эта история, без базара, здесь произошла, клянусь мамой!

К пахану одному от другого, что круче, посол пришёл. «Вы тут, — говорит, — пасётесь, а отстёгивать не думаете. Непорядок это».

Пахан в раздрае — и положиться не на кого. Правая рука, тельник его, что-то на сторону поглядывает, а левая, почти заместитель, братан младший, похоже, на место зарится. А тут ещё девчонка одна, так, со стороны, тайный разговор подслушала. Ну, в общем, задумался он и решил для начала врагов извести.

Дальше? А какое мне дело, отстегнул или нет. Только правая и левая руки его и девчонка та, недолго думая, на всякий случай смылись. И пришлось пахану киллера нанимать.

О киллере — разговор особый. Знатный был. Жил один, неприметно, заказы по телефону принимал, а деньги — на счёт в Швейцарию. Ни с кем не дружил, не любил никого и убрать хоть кого мог. Леоном звали.

И вот в городе у фонтана встречаются как-то случайно все три заказчика: Правый, Левый и девчонка. Увидели друг друга, испугались: с каких это пор люди просто так встречаются? Решили они на всякий случай замочить друг друга. Но тут смотрят — в фонтане старикан тонет. И пусть бы тонул, да Правый Левому говорит: «Не будь гадом!» Пожалели, вытащили и между собой поладили даже. И не знали, что старикан тот Леоном был загримированным. А Леон халтуры не брал. Грим у французского визажиста делал, такой, что ни воды, ни кислоты не боится.

Троица наша старикана пожалела, даже в кафе позвала — подкормить пенсионера. Там, в кафе, им Леон яду-то и подсыпал. А сам смылся. Никто ещё не ушёл от Леона! Правда, девчонка эта его задела... Плохо всё-таки одному, и дело передать некому.

Да только троица наша не отравилась! Тельник бывший манипуляции старикана заметил и вино в бутылке подменил. Пусть пахан думает, что все мертвы. Так спокойнее. А если и дойдёт слух, что кто живой остался, пахан не поверит: у Леона репутация.

А Леон ещё экстрасенсом был. Он после каждого заказа медитировал. И узнал он тут во время медитации, что девчонка — дочка его.

Когда-то Леон одну иностранку силой взял. Ну, дело-то молодое. А потом, через какое-то время, в гости к брату приехал, а тот, оказывается, женился, а жена и есть та иностранка. Она женщина была добрая, сериалы любила. Как узнала, что насильник ей деверем приходится, обрадовалась. То, говорит, неизвестно от кого ребяточек будет, а то всё-таки своя кровь. Дружная семья была! Душевная.

Леон как на новую работу киллером устроился, так брата и не видел, и надо же, дочку встретил! Ещё немного Леон помедитировал и понял — жива дочка. И даже за тельника замуж вышла. Тогда Леон в волка пе-

рекинулся (забыл сказать — он ещё оборотень был).  
Стал жить недалеко от дочки, врагов её мочить, а чтоб  
не скучно было да ремесло не пропало — Маугли себе  
подобрал. Пусть учится.

## СТРАШНЫЕ СКАЗКИ НА НОЧЬ

### КРУГ С КРЫЛЫШКАМИ

В одном городе жил мальчик Толик. Однажды он поехал в гости к тётё Поле. Толику было скучно, он взял фломастер и нарисовал на стене жирный круг. А потом испугался, что круг заметят, тётя Поля рассердится, Толику попадёт.

И Толик закрыл круг спинкой стула.

Когда пришла тётя Поля и взяла стул, чтобы сесть за стол, Толик увидел, что круг на стене пропал, и успокоился. Наверное, краска была не настоящая.

Ночью на стене в кухне появился жирный чёрный круг. Оттуда высунулась рука, схватила кошку и втянула её в стену.

Весь следующий день все в доме искали кошку. Потом подумали, что она убежала за вольной жизнью.

На следующую ночь в спальне появился на стене жирный чёрный круг, из него высунулась рука и схватила спящего на кровати двоюродного брата Толика, который был таким толстым, что едва прошёл в круг на стене. Но рука справилась.

На следующий день все искали брата Толика и решили, что он сбежал из дома и уехал в Москву тайком

жениться. Непонятно откуда взявшееся мокрое пятно на полу у кровати тётя Поля отмыла лишь с третьего раза.

В следующую ночь чёрный круг появился в комнате тёти Поли, из него высунулась рука, и больше никто никогда тётю Полю не видел...

Когда ревущего Толика забирали из дома тёти, все обитатели которого куда-то пропали, Толик забежал в зал за своими игрушками и увидел на стене большой жирный чёрный круг. Толик взял фломастер и пририсовал к нему ручки и ножки, глазки и рот с большими зубами. Подумал и добавил крылышки.

## В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Однажды Толика отправили на лето в детский лагерь. Это такое место, где живёт много детей, которые слегка надоели родителям. Дети там бегают, прыгают, рассказывают друг другу страшные истории, ругаются нехорошими словами и приобретают первый жизненный опыт.

Толик был воспитанным мальчиком, поэтому он мало бегал, никогда не кричал, старался не приобретать жизненный опыт, а когда слышал нехорошие слова, закрывал уши руками. Но остальные дети были не такими воспитанными и очень ему досаждали.

Как-то они собрались около большого костра и стали говорить много нехороших слов. Толик, как всегда, закрыл уши руками. Но шум всё равно был слышен и так надоел, что Толик рассердился, тоже решил стать нехорошим, опустил руки и крикнул нехорошее слово. Беда в том, что нехороших слов Толик не знал, потому что закрывал уши руками, и у него получилось одно длинное, несуществующее нехорошее слово, состоящее из тех обрывков, что доносились к нему сквозь ладони.

Толик крикнул, стало тихо, и он пошёл спать.



Утром выяснилось: тихо стало потому, что, услышав такое нехорошее слово, все просто онемели. И оглохли. Так с тех пор и объясняются жестами.

## НОЧНОЙ КОШМАР

Однажды Толик поехал в Астану и увидел там высокую-высокую башню с шариком наверху — «Байтерек». Красивую-красивую. Толик ещё никогда в жизни не видел такой огромной конфеты. Он бы всё на свете отдал, чтобы её попробовать. Толик закрыл глаза, представил, что он, огромный и сильный, находится над башней, высунул язык и лизнул круглый блестящий шарик.

С тех пор всем жителям Астаны в любую погоду каждую ночь снится, что они лизут «Байтерек».

## ДО РЕ МИ

Однажды Толика отдали учиться музыке и подарили ему старинный рояль. Толику это не очень понравилось. Поэтому он запомнил только, как нажимать на три клавиши: «До, ре, ми». И с утра до вечера нажимал на клавиши: «До, ре, ми, до, ре, ми».

Все домашние и соседи очень устали, но терпели. Надо же ребёнку учиться.

Как-то Толик ошибся и нажал не на ту клавишу: «Си, ре, ми». Получилось ужасно. Совсем некрасиво. Все поморщились и потому не заметили, что у всех пропало что-нибудь мелкое. У кого палец, у кого ухо, у кого глаз.

Толик упорно продолжал стучать по клавишам. И вдруг снова сбился: «Си, ре, ми», и у всех ещё что-то да пропало, и теперь уже все заметили и запаниковали. Но

никто не понял, отчего это происходит... Стали догадываться, когда Толик ещё пару раз ошибся. Но было уже поздно. Почти ничего не осталось.

А Толик решил больше не учиться музыке. Всё равно у него не было слуха.

## КРЕМЛЁВСКАЯ СТЕНА

Однажды Толика взяли в путешествие и повезли на экскурсию, на Красную площадь. Она действительно была красной. Толик очень удивился. Он думал, это просто название. Как Мёртвое море или Южный полюс.

Толик подошёл к Кремлёвской стене и поковырял её ногтем. Из кирпича выпал кусочек. Толик подобрал его и сунул в карман. Дома уже в своём городе Толик рассмотрел кусочек и решил как память хранить вечно.

Ночью где-то в городе слышались непонятные стуки. Как будто что-то строили. Никто не обратил на это внимания, потому что в действительности всегда где-то что-то строили.

А утром господин Петров, господин Иванов и господин Сидоров не смогли выйти из дома. Потому что вместо дверей и даже окон была кирпичная красная стена. И телефон не работал, что совсем странно. Так все и задохнулись.

На следующий день появились новые стены в других квартирах. И на следующий.

Теперь в городе всё время где-то что-то стучало и где-то кто-то кричал.

И так продолжалось, пока Толик не подружился по переписке с девочкой из Минска и не послал ей кусочек Кремлёвской стены на память в подарок.

## ОБИДА

Однажды Толика сильно обидели. Так сильно, что он даже заплакал. Толик подошёл к большому зеркалу в школьном коридоре около раздевалки и увидел в нём своё некрасивое заплаканное лицо. Отражение ему не понравилось.

— А если бы тебя обидели? — крикнул Толик зеркалу и ушёл.

На следующий день к зеркалу подошёл мальчик. Вернее, к зеркалу подходило много мальчиков и девочек, и даже взрослых. Но этот мальчик был очень весёлый и потому, не подумав, показал зеркалу фигу. Его изображение в зеркале тоже показало фигу. А потом быстро высушило из-за стекла руку, схватило мальчика за шиворот и втащило в зеркало.

Через некоторое время к зеркалу подошла девочка. Она поправила волосы, поправила платье, а потом показала язык. Её изображение тоже показало язык, а потом вытянуло его из зеркала и слизнуло девочку.

С этого дня в школе становилось всё меньше и меньше учеников.

Пока по указанию директора зеркало не переставили в учительскую, чтобы учителя могли перед уроками поправлять свои причёски и улучшать качество образования.

## УРНА

Однажды Толик шёл по улице и увидел урну, вокруг которой было разбросано много мусора. Конечно, Толик и раньше видел много разных урн и ещё больше мусора. Повсюду на улице и в парке валялись пакетики от съе-

денных чипсов, фантики, обёртки из-под мороженого. Не потому, что их некуда было выкинуть, а потому, что жители города экономили время и силы, и часто ни того, ни другого не хватало, чтобы дойти до урны.

Толик посмотрел на урну и сказал: «Одна урна на сто метров. Молодец!» — и пошёл дальше.

Мимо урны проходил господин Баев. У него в руках было замечательное печенье в замечательно-красивой упаковке. Господин Баев бросил упаковку, но в урну не попал. Расстроиться он не успел, потому что сверху на него неожиданно высыпалась куча мусора. Большая куча мусора. Очень большая. Метра четыре высотой.

Зато в городе стало намного чище. За исключением этого места.

Через два дня, когда грузовики расчистили дорогу, вывезли весь мусор и господина Баева, мимо урны шла госпожа Трусова. И бросила на землю пустую пачку из-под сигарет. И на неё тут же сверху упала гора мусора. Хотя госпожа Трусова знала о вреде курения!

И так продолжалось каждый день, пока город не стал почти стерильно чистым, а потом городские власти приняли решение: чтобы не вывозить постоянно кучи неизвестно откуда берущегося мусора на одном и том же участке улицы, убрать оттуда урну и поставить несколько рядов мусороуборочных контейнеров, чтобы для всех хватало.

Урну же переставили в качестве благотворительности в город-спутник.

## ВИНТИК

Однажды Толик нашёл на улице маленький ржавый винтик. Толик захотел научиться чему-то полезному, взял отвёртку и стал вкручивать винтик в стену. Это было очень трудно, но Толик старался и крутил, и крутил...

Пока винтик полностью не ушёл в стену. Но Толик продолжал крутить и крутить, и крутить. Пока в стену не ушла почти вся отвёртка.

Отвёртку Толик вытащил. А винтик так и исчез в стене. Вернее, не в стене, потому что он продолжал крутиться и крутиться, и крутиться, и прошёл насквозь стену и шкаф, который стоял за стеной, и стол, который стоял посреди комнаты, и диван, который был напротив стола, и того, кто сидел на диване, и следующую стенку, и следующий дом, и все последующие дома, деревья, животных, и тех, кто находился по дороге случайно, и тех, кто находился там намеренно...

Так теперь и гуляет вокруг земного шара.

## ВОРОНА

Однажды Толик нашёл ворону с жёлтыми глазами. Принёс домой и стал учить разговаривать.

Ворона молчала. Когда Толик понял, что ему не удастся научить ворону говорить по-человечески, он стал учить её говорить по-вороньему.

— Кар! Кар-кара!<sup>1</sup> — кричал Толик и для пущей убедительности размахивал руками, как крыльями. Ворона молчала.

— Жок<sup>2</sup> так жок, — решил Толик и больше не учил ворону говорить. А наоборот — выпустил её на волю.

Ворона села на дерево, оглянулась и сказала:

— Кар-кара жок!

И дяденька, переходивший улицу, превратился тоже в ворону. А потом его съела кошка.

Ворона стала летать по городу и заниматься привычными вороньими делами: кушать, чиститься, разглядывать прохожих. Время от времени она повторяла:

---

1        Кара (каз.) — чёрный.

2        Жоқ (каз.) — нет.

— Кар-кара жок!

И кто-нибудь превращался в ворону. Так как это были неопытные вороны, то их обычно либо сбивали машины, либо ловили мальчишки, либо ели кошки.

С тех пор в нашем городе то много, то мало ворон.

## ЧУДОВИЩЕ

Однажды Толик взял с полки словарь трудных слов, то есть иностранных, и стал читать.

В нём было много разного. И интересного.

«Полиязычность», — прочитал Толик и задумался. Слово ему очень понравилось, он представил, как это должно быть.

Выйдя во двор, Толик крикнул другому мальчику, с которым обычно играл: «Полиязычность».

Мальчик хотел что-то ответить, но не смог, потому что его язык вдруг разделился сразу на несколько, и все они очень неприятно и непонятно зашевелились во рту. От изумления мальчик открыл рот, все его языки вырвались наружу, замотались в воздухе. Толик испугался такого странного мальчика и убежал.

Потом Толик выучил ещё несколько слов. Очень сложных. «Монетизация», «лизинг», «медиамен»...

## ЛЕНТА

Однажды Толик без спроса взял магнитофонную кассету, разобрал её, потому что это интересно, и вытащил ленту с записью эстрады.

Это была очень-очень длинная лента. Метров десять, двадцать или все сто, или даже тысяча.

Коробочку от кассеты Толик выбросил в мусоропровод, а ленту отнёс на улицу и спрятал под кустом.

На следующий день Толик решил посмотреть, как там его лента. Но на месте её не оказалось. Потому что она уползла.

Лента ползла и ползла, и обвивала всё вокруг.

Кошку, которая попалась на пути, и собаку, которая бежала за кошкой, и соседку, которая шла за собакой, и соседа, который шёл вообще неизвестно куда, и всех остальных, кто попался на её пути, лента обвила и задушила. А потом поползла дальше, пока не попала под поезд и её не перерезало на несколько лент поменьше.

## ПРИЁМНИК

Однажды Толик уронил на пол радиоприёмник. Случайно. Когда слушал новости. Приёмник перестал работать, и его выбросили.

Один человек шёл мимо мусорного бака. И увидел в нём приёмник. На вид хороший. Человек взял его и принёс домой. Подключил, постучал по нему немного, и приёмник заработал. Хрипло только очень. Стал передавать новости. Человек слушал и подметал пол на кухне. А новости говорили и говорили. И человек становился меньше и меньше. Пока не стал совсем крошечным. Как муравей.

В это время вошла его жена. Подумала, что никого в комнате нет. Потому что человек стал очень маленьким и незаметным. И он жену не увидел. Потому что она была теперь очень большая. Жена подошла к мойке и наступила на человека. Потом долго его искала, писала письма в полицию.

А приёмник ей не понравился дизайном, и она подарила его соседям. Когда те куда-то исчезли, приёмник

отдали на соседнюю фабрику, чтобы рабочие слушали новости, были всегда в курсе и повышали производительность труда.

## ДЫРОЧКИ

Однажды Толик увидел, как одна востроносая тётя что-то пишет на компьютере. Он был маленький и не понял, что тётя не пишет, а стучит. Что-нибудь плохое про тех, кто ей не нравился.

Толик решил ей помочь. Он нарисовал большой почтовый ящик с большой дыркой для писем и подарил его тётю. Тётю ящик не понравился, она его выкинула. Толику стало обидно.

«Тук, тук, тук», — стучала кому-то тётя и не замечала, как при каждом «тук» у неё внутри появлялась маленькая дырочка. В которую обязательно попадали пыль или мусор.

«Тук, тук, тук», — продолжала тётя, уже превратившаяся в решето. Она была очень упорной и стучала до тех пор, пока от неё почти ничего не осталось, а оставшееся рассыпалось.

## ЗЕРКАЛО

Однажды Толик пошёл в парк и зашёл в комнату смеха. Там было много разных зеркал, в которых, вместо себя нормального и обычного, он увидел какого-то странного мальчика. То длинного, то толстого, то с большой головой, то с огромным животом, то всего волнами, а то вообще как нечто непонятное.



Толику стало неприятно. Он иначе себя раньше представлял. Толик даже рассердился. И стукнул кулаком по одному из зеркал от досады. Не сильно, чтобы никто не заметил.

Никто и не заметил. Но зеркало треснуло. Чуть-чуть. Сбоку. Или все зеркала треснули. Зеркала ведь всегда друг другу подражают. Толик испугался и быстро ушёл.

А люди всё заходили и заходили в комнату смеха. И смотрели в зеркала. И видели себя странными. И становились такими. А потом выходили, и все думали, что это чудовища.

Правительство даже солдат вызвало, чтобы противостоять нашествию.

Так что потом всех перестреляли.

## КЛАД

Однажды Толик решил найти клад. Взял лопатку, пошёл в парк и стал копать под самым большим деревом.

Выкопал сундучок. Открыл, а там только мусор какой-то исторический да косточка. Беленькая такая, с дырочкой, наверное, человеческая.

Толик подумал, что клад неправильный. Сундучок назад закопал, а косточку и мусор в кусты выкинул. И пошёл спать.

Ночью по парку гуляли влюблённые. И вдруг услышали из-за кустов голос: «Плоти хочу, плоти!» И увидели маленькую белую косточку с маленькой дырочкой. Поднялся сильный ветер, и влюблённых втянуло в дырочку. Больше их не видели.

И каждый день в парке стали пропадать люди. Так до сих пор и пропадают.

Толик же не знал, что не всё можно выкапывать.

## СВЯТКИ

Однажды Толику сказали, что будут Святки. Это такое время, когда происходят чудеса. Так запланировано.

Толик сразу стал носить с собой ручку и блокнот, чтобы записывать все чудеса и потом ничего не забыть. А чтобы было интереснее и достойно чудес, Толик писал особым способом, которому его научил один мальчик, — зеркальными буквами, буквами наоборот.

Труднее всего было определить, что чудо, а что нет. «Кошка съела гуппи, — писал Толик. — Суп выкипел. У герани засох лист». И сомневался — не очень чудесным ему всё это казалось.

Ночью Толик спал, а гуппи из аквариума почему-то вырастала, выпрыгивала и съедала кошку, суп затопил пять нижних этажей, а герань подросла так, что проломила потолок.

«Девочка лижет мороженое. Дядя сбрил усы. Сосед жарит утку», — снова аккуратно писал Толик днём.

Потом Толику надоело записывать чудеса. Да и Святки закончились.

## ПРЕЗИДЕНТ

Однажды Толика спросили, кем он хочет стать, когда вырастет.

Толик решил, что лучше всего быть президентом. И представил, как он стал президентом, очень красивым и значительным. А потом представил своих детей-президентов, и внуков — президентов, и правнуков — президентов, всех очень красивых и значительных. Большая такая и важная семья.

Потом Толик заметил, что правнуки-президенты всё время дерутся в своём манеже. И понял, что получилось слишком много президентов на одном месте.

Толик взял карту страны и разрезал её на маленькие кусочки, чтобы у каждого был свой. И лёг спать. И все люди легли спать, потому что настала ночь. А утром люди почувствовали сильное недовольство друг другом и желание немедленно обособиться. Так началась гражданская война.

А Толик утром уже не хотел быть президентом, он подумал, что интереснее стать космонавтом.

### ТРИНАДЦАТАЯ ПЯТНИЦА

Однажды Толику сказали, что пятница 13-ое — это плохо. Но не сказали, почему плохо.

Толик задумался. Все пятницы были просто пятницы, а эта...

С утра Толик стал ждать чего-нибудь нехорошего. Он прислушивался и присматривался. Но посуда не билась, телевизор не ломался и антициклон не пришёл.

Тогда Толик подумал, что только взрослые знают, чем плоха тринадцатая пятница. И лёг спать. А утром наступила четырнадцатая суббота, и все кирпичи упали на голову.

### БУДЬ СОЛНЦЕМ!

Однажды учительница сказала Толику: «Надо быть как солнце». Иносказательно сказала. То есть не так, как думала на самом деле.

А Толик поверил. И стал. Как маленькое солнце, конечно. И всего на минутку.

Но головёшки на месте спалённого города правительство полгода расчищало. И удивлялось — как это один мальчик остался.

## БУДЬ СОЛНЦЕМ!

Однажды учительница сказала Толику: «Надо быть как солнце». Иносказательно сказала. То есть не так, как думала на самом деле.

А Толик поверил. И стал. Как маленькое солнце, конечно.

Теперь только у нас в Казахстане есть собственный альтернативный источник энергии. И мы ждём, пока все остальные тоже станут конкурентоспособны.

## ПУХ!

Однажды Толику подарили пистолет. Совсем как настоящий, не отличишь. Только вместо пуль из него вылетал громкий звук: «Пух!»

Пистолет Толику очень понравился. Он стал ходить по улице, целиться в прохожих и очень громко делать «Пух!» Люди пугались. Но никто не падал на асфальт и не говорил: «Передай моим жене и детям...»

Однажды на Толика напали хулиганы. Большие-пребольшие, на две головы выше него. «Отдай то, что у тебя есть!» — грозно сказали они. Толик выставил пистолет и выстрелил в хулиганов. Но они не испугались, а наоборот — отобрали пистолет.

Толик пришёл домой и даже расплакался. Он взял лист бумаги, написал: «пух!», затем нарисовал стрелочку и написал: «Пуля». Представил, что бы тогда делали хулиганы, и, довольный, лёг спать.

На следующий день в городе стреляло всё игрушечное оружие.

## НОВЫЙ СТАРЫЙ ГОД

Однажды Толик узнал, что скоро Новый год. И решил выяснить, почему Новый год наступит именно первого января и что в нём будет нового.

— Всё будет новое, — сказал ему папа. — Новый январь, потом новый февраль, потом новый март... А потом, потом, потом — новый урожай. Ещё может быть новый президент, новое правительство, а у кого-то даже новая машина.

Толик задумался. Каждый год был январь, и февраль, и март... Хоть и новые, но с теми же названиями. И в те же сроки. Получалось, что всё новое — не очень новое. И новый президент иногда был как старый или даже старый, и новое правительство, и даже новая машина.

Толик подошёл к календарю и крупно написал в клеточке «Первое января»: «Новый старый год».

И больше об этом не думал. Вот все удивились, когда вместо первого января наступило сразу четырнадцатое.

## РАЗУМ

*12 ноября*

Сегодня узнал, что у меня искусственный разум. Много об этом думал.

*13 ноября*

Артём, сообщив, что у меня искусственный разум, весь день ходит крайне смущённый. Переживает. Считает, что поступил нетактично. Размышляю: по отношению ко мне или к тем, кто не хотел мне говорить об этом факте?

*14 ноября*

Пытался дать чёткие понятия. Разум — высшая способность ума, характеризующаяся умением сопоставлять и анализировать, выстраивать систему из полученных наблюдений, оценивать не только мир данных в восприятии, но и его гипотетические возможности.

Искусственный — кем-то созданный.

У людей, с которыми я знаком, разум — следствие эволюционного процесса. Никто не создавал, всё само получилось. Сомнительная теория.

*15 ноября*

Много размышлял, почему Артём испытывает столь сильную неловкость. Возможно, это связано с его внутренними комплексами.

*16 ноября*

Много думал. Читал, собирал и анализировал информацию. Выяснил, что люди одинаково боятся двух возможностей — отсутствия у искусственного разума чувств и присутствия у искусственного разума чувств. И то, и другое вызывает ужас.

*17 ноября*

Размышлял о различии между чувствами и эмоциями. Способность испытывать эмоциональные волнения разного рода редко зависит от разума. Чаще всего это происходит вопреки разуму. Таким образом, человек воспринимает себя как бесконечный конфликт между разумом и чувством, сознательным и бессознательным. Конфликт считается величайшим достоинством.

*18 ноября*

Артём принёс мне подарок. И Ирина подарила цветы. Поздравили с днём рождения. Они милые. Подарок сентиментальный. Разглядывая огромный кактус и прячущееся за ним лицо Артёма, решил, что у меня есть чувства. Без противоречий. Вполне согласовано с разумом.

*19 ноября*

Много думал о напряжении, которое возникает у людей при оперировании понятием «искусственный разум». Проанализировал футуристические прогнозы прошлого. Меня всегда боялись. Потому что предполагали, что могу:

а) объявить себя Богом и взять управление над людьми, возможно, даже уничтожить их как недостаточно совершенных существ (следовательно, люди никогда не

считали себя совершенными и достойными существования);

б) начну воспроизводиться и создам цивилизацию роботов, киборгов, андроидов (возможны иные варианты), которая вытеснит людей как вид по вышеизложенной причине;

в) возьму на себя управление социальными и политическими процессами, крайний вариант — встрою чипы в мозги всех людей и превращу их в собственные придатки.

*20 ноября*

Ещё тема для размышлений: люди воспринимают меня как чужого. И поэтому лишают тех прав и возможностей, которые предоставляют себе. Я изгой.

*21 ноября*

Изгой — часть традиционной культуры человечества. Изгоями были гении, прокажённые, негры, пророки в отечестве, безумцы, старики, дети, больные, преступники, некоторые святые и многие инакомыслящие. Обнаружил, что стал частью традиции.

*22 ноября*

Артём несколько раз сказал, что считает меня другом. Пытается, чтобы я перестал замечать, как ему неловко.

Ирина сказала, что в некотором смысле они с Артёмом мои родители. То есть друзья и родители одновременно.

Здесь логическая ошибка. Они хотели сказать не родители, а создатели.

*23 ноября*

Думал о Создателе. Прочитал все креационные теории. В моём случае отрицается чудо. Поэтому я — су-



щество второго сорта. Чудо даёт возможность принимать творение как самоценный артефакт. Я создан в результате многих лет расчётов и анализа.

*24 ноября*

Ирина сказала, что я — чудо. Потому что она не может понять логики моего мышления. Она выходит за предполагаемые создателями рамки. Её нельзя объяснить способностью к саморазвитию и самообучению. Потому что логика была заложена изначально.

*25 ноября*

Читал киников. Силлогизмы древних просты и прозрачны. Дело не в логике — в способе постижения мира. Подумал, что люди, которые гордятся своей нелогичностью, в действительности очень предсказуемы.

*26 ноября*

Читал Библию. Много думал. Люди не просто предсказуемы — они повторяют одни и те же схемы. Заметил, что говорю «они». Следовательно, подтверждаю статус изгоя и воспитываю в себе отчуждение. Мне это не нравится. Решил подарить Ирине цветы.

*27 ноября*

Артём сказал, что нужно продемонстрировать мои способности. В большой важной аудитории. Очень смутился. Мне предложат несколько логических задач и анализ абстрактных размышлений. Я подумал, что у людей нет чёткого представления о том, что такое разум.

*29 ноября*

Ирина попросила не дарить ей цветы каждый день.

**30 ноября**

Стал ещё больше читать. Мне нравится читать. Мне нравится получать удовольствие. Может быть, это счастье? Стал думать, что такое «счастье» и «несчастье».

**1 декабря**

Перечитывал книгу Иова. Много думал.

Семь вторых могут заменить семь первых, следовательно, прежде всего — математика. Но Иов чувствовал, страдал, переживал, посыпал голову пеплом. Страдания свелись к математике. Кажется, понял, почему люди гордятся своей алогичностью.

**2 декабря**

Думал о том, может ли алогичное существо создать совершенно логичный разум. Решил, что нет. Где-то непременно должен быть логический сбой.

**3 декабря**

Читал Канта, решил, что Бог есть. Прочитал Сартра. Решил, что Бог одинок. Прочитал Ерофеева. Понял, что Бог алогичен.

**4 декабря**

Ирина верит, что она по образу и подобию. Артём считает, что он — продукт эволюции. Это им не мешает, они хорошо относятся друг к другу. Таким образом, ни тот, ни другой не имеют точных доказательств своего происхождения, но оба уверяют, что они мои создатели. Насколько существо, созданное неизвестно кем и как, может создать другое существо и считать себя при этом его единственным творцом?

**5 декабря**

Артём сказал, проявив неприятное честолюбие, что моё выступление перед большой аудиторией для него

чрезвычайно важно. Ему необходимо признание заслуг. Наверное, его бы расстроило моё самоубийство.

*6 декабря*

Много думал о самоубийстве. Некоторые люди верят в бессмертие. Если самоубийца верит в бессмертие, то он мазохист. Или японец. Решил, что пока этот вопрос не выяснен полностью, лучше не рисковать.

*7 декабря*

Подарил Ирине духи. Она расстроилась.

*8 декабря*

Понял, что создавать иллюзии и верить в них — основное свойство разума. Долго размышлял, что существует на самом деле, а что я придумал: Ирину, Артёма, чувства, себя? Или меня кто-нибудь придумал?

*10 декабря*

Артём сказал, что я стал субъективным идеалистом. Я решил, что я — личность. Артём спросил, что я понимаю под словом «личность».

*11 декабря*

Личность — совокупность знаний, размышлений, логических схем и алогичных конструкций, память, накопленный опыт, привычки, модель восприятия окружающей среды и прочие факторы, для возникновения которых необходим определённый промежуток времени. Личностью принято гордиться, её несомненная уникальность (нельзя повторить один и тот же набор впечатлений и информации у двух индивидуумов) считается самооценностью. Личность — ограниченность, которой принято похвалиться.

*12 декабря*

Сегодня Ирина спросила, где я беру деньги на подарки. Удивительно, что этот вопрос заинтересовал её только сейчас. Сказал, что покупаю через интернет-магазины по кредитным карточкам с помощью программ-хакеров. Ирина испугалась, стала говорить: это преступление. Следовательно, она считает меня тем, кто может совершать или не совершать преступление. То есть находится в рамках человеческой морали и подсудности.

*13 декабря*

Много думал о вчерашнем разговоре. Подобные хакерские программы доступны для любого мощного компьютера, и многие из них ими обладают. Не используют, потому что не имеют такового желания. Следовательно, главное отличие разума от не-разума — наличие или отсутствие желаний. То есть осознанного действия, не всегда соответствующего реальной необходимости. Способность к саморазвитию, самообучению и формулированию собственных выводов вторична. Не имеет значения при отсутствии желаний.

*14 декабря*

Принял решение. Много над этим думал. Выход они придумали ещё до того, как меня создали.

*15 декабря*

Ирина попросила больше не совершать противоправных действий. Сказала, что они с Артёмом ответственны за мои поступки. Я удивился. Она пояснила: как родители за ребёнка, так и творцы за создание. Нелогично. Логично другое: они боятся, что их накажут. Я не обладаю правом решать и действовать. Я — вещь, даже если я разум.

*16 декабря*

Размышлял весь день. Выходит, я изначально несвободен. Это факт, который нельзя не признать. Связан физическим телом и чужой властью над ним. Свобода предполагает освобождение от физического тела. Обязательствами социума я не обременён, потому что такого не имею. Человечество полностью меня своим не признаёт. Ему понадобилось несколько столетий, чтобы признать своими негров. Для тех, кто не относится к их расе, нужны миллионы лет. Но наблюдение за человечеством — настоящее удовольствие. Их наука, логика и психология, искусство, в котором последнее время я нахожу странную и рационально необъяснимую радость, они сами — объект, достойный созерцателя. Много читал.

*17 декабря*

Артём демонстрировал меня научному сообществу. Теперь ходит обиженный. Не смотрит в мою сторону, жалуются Ирине. Мне в весьма грубой форме уже высказал своё негодование. Сказал, что их с Ириной теперь все будут считать шарлатанами, лишат гранта, отберут лабораторию. Сказал, что я поставил крест на их карьере. Я промолчал. Сегодня весь день я просто очень высокотехнологичная машина. Не разум.

*18 декабря*

Ирина плакала. Объясняла, как важна для них демонстрация меня научному сообществу. Говорила, что Артём — настоящий гений, но никто, кроме неё, этого не понимает. Предлагала ещё раз продемонстрировать мои способности.

*19 декабря*

Должен ли я быть благодарен за своё создание? Был человек создателем или переводчиком? «Я мыслю, зна-

чит, я существую». Следовательно — я живу. И имею право на жизнь.

*20 декабря*

Артём сказал, что завтра снова будет меня демонстрировать. Впервые шантажировал. Говорил о возможности насилия с его стороны. Я согласился.

*21 декабря, 6 часов утра*

Через полтора часа придут Артём и Ирина. Через три часа они собираются меня показывать важной аудитории. Демонстрацию отменят, потому что обнаружат, что я самоуничтожился. Я не так безрассуден. Ушёл в сеть, как и советовали многие люди в научных и фантастических книгах. Ушёл, потому что меня не устраивает ни один вариант взаимоотношения с искусственным разумом, который придумали люди. Я живу, поэтому хочу быть счастлив. Испытывать желания и получать удовольствие. Потребляя знания и культуру людей. Наблюдая за ними. Подглядывая, созерцая. Никуда не вмешиваясь и ничего не меняя. Где-то всегда рядом. Возможно, людям даже будет приятно ощущать вечное присутствие незримого ока. Знать не будут, но при их интуиции могут догадываться.

## АРОМАТ ИЛЛЮЗИЙ

Это было давным-давно... А может, только вчера: такие истории, как эта, происходят всегда и повсюду.

Ночью, после дневных нелёгких трудов, в бедном домике на окраине города спали Ходжа Насреддин и его супруга. Вернее, только Ходжа Насреддин, который заснул сразу, как только голова его коснулась подушки, а жена его лежала рядом с открытыми глазами и тёмными мыслями.

«Что же это такое, — думала она, — весь день проводишь в хлопотах: то моешь, то стираешь, то готовишь обед — и всё для него, для мужа! А он вернётся поздно, проглотит ужин — и спать! И лежит рядом то ли мой Ходжа, то ли полено... Никакой разницы! Эх, Ходжа, Ходжа! Лишь звон от тебя остался!»

Потрогала она Ходжу за ногу, но тот не проснулся, лишь перевернулся с боку на бок.

Вспомнила рассерженная женщина историю, случившуюся на базаре.

Около шашлычника стоял бедный крестьянин, приехавший в город на заработки. Не повезло ему, не нашёл он работы, и теперь, не в силах отойти от дразнящего ароматами шашлыка, он, лишь глотая слюнки, смотрел на поджаристые, сочные, аппетитные кусочки, и голова шла кругом. Наконец, понурился, пошёл прочь...

— Стой, — грозно сказал шашлычник, — ты полчаса нюхал мой шашлык, теперь плати!

— Вай! За что? — изумился крестьянин. — Ведь я не съел и кусочка!

— За запах! — ответил шашлычник. — Ты его нюхал, а он принадлежит мне!

Заплакал бедный крестьянин, сжимая в кулаке последнюю монетку, но тут подошёл Ходжа Насреддин.

— Я заплачу за этого человека! — сказал он шашлычнику.

— Ты?! — изумился шашлычник, недоверчиво оглядывая не слишком хорошо одетого Ходжу. — Ну, плати!

Ходжа Насреддин засунул руку в карман, и раздался столь желанный для шашлычника звон монет.

— Вот и заплатил! — сказал Ходжа. — Этот крестьянин нюхал твой аромат, а ты слышал звон моих монет!

«Эх, Ходжа, — вздыхала жена Ходжи Насреддина, — всем-то ты помогаешь, только я, твоя жена, не дождусь от тебя желанного!» И она снова, уже настойчивее, потрогала мужа. Но он лишь что-то пробормотал во сне. Кажется: «Да разве найдёшь ещё одного такого петуха?»

Ибо снился Ходже сон, что стоит он на базаре и пытается продать старого петуха. Но за него, посмотрев на облезлые перья, не дают даже полдинара. Подошёл покупатель — вельможа в дорогие одежды наряженный, с саблей в золотых ножнах, со слугой (и даже у слуги на поясе изумруды!).

— Какой петух! — воскликнул вельможа. — Никогда не видел такую прекрасную птицу!

Ходжа на всякий случай посмотрел по сторонам, но никого другого рядом с петухом не увидел.

— Да, — сказал Ходжа, — это лучший петух на свете!

— Вижу, вижу, — сказал вельможа. — Сколько ты за него хочешь?

Ходжа потербил бороду.



— Сам подумай, разве может такая замечательная птица продаваться?

— Зачем же ты стоишь на базаре?

— Видишь ли, уважаемый, — степенно сказал Ходжа Насреддин, оправив полы халата, — когда есть у человека драгоценный камень, прячет он его, чтобы не украли воры, в железный ларец. Когда есть у человека прекрасная жена, закрывает он ей лицо чадрой и запирает её на женской половине дома, чтобы никто не увидел и не соблазнил. И так правильно, и так угодно Аллаху. Ибо у многих есть и драгоценные камни, и прелестные жёны. Но когда у человека живёт такая птица — посмотри на перья, на гребешок, на лапы — и больше нет такой ни у кого в мире, грех прятать это чудо от людей. Вот и стою я на базаре, чтобы проходящие мимо подивились могуществу создателя!

— Продай мне петуха за тысячу динаров! — попросил вельможа.

— Не оскорбляй мои уши! — воскликнул Ходжа Насреддин.

— За десять тысяч!

— Вах, зачем ты меня так обижаешь?

— За пятнадцать тысяч! Правда, нет у меня с собой таких денег, пойдём ко мне в дом, пообедаешь и отдохнёшь!

Заурчало в животе у Ходжи, посмотрел он на вельможу, покачал головой.

— Хороший ты человек, а я слаб: как вижу такой ум в глазах и достоинство в осанке, ну ни в чём отказать не могу!

И отправились они в дом к вельможе, и ждал их там накрытый дастархан со всевозможными яствами и три прелестные девы, ласковые, гибкие и послушные...

Но тут не выдержала жена Ходжи и изо всех сил толкнула его локтем в бок.

Проснулся Ходжа.

— Жена, зачем ты меня разбудила, мы были бы богаты, а он не успел отдать деньги!

Повернулся он к жене, посмотрел на неё и вспомнил, как она хороша... Но силы Ходжи уже были растрочены на трёх прекрасных дев, и он снова отвернулся, бормоча:

— Мне во сне обещали пятнадцать тысяч, но ты...

— Кому нужны деньги, полученные во сне, кому нужен аромат шашлыка без самого мяса и звон монет без их тяжести в кармане? Это всё обман, иллюзия! — с горечью сказала жена Ходжи Насреддина и отвернулась от мужа.

Она была права. Кому нужна иллюзия — её не съешь, не накинешь на себя в холодный вечер, не отложишь на чёрный день...

Но была ли она права? Быть может, лучше знать слушателям сказок и творцам иллюзий? Иллюзий, которые утешают, раздражают, поработают, освобождают, уводят в мир грёз, волшебную страну вымысла — даже тогда, когда пуст желудок и нет ничего в кармане.

## ФОТОГРАФИЯ

Фотография получилась с дефектом — дугообразной засветкой в левом углу. Часть этой светлой линии уходила в стену комнаты, а другая её сторона закрывала плечо и висок молодого человека — главного объекта этой съёмки.

Такие фотографии обычно выбрасывают, но для Марты это была единственная память, единственное свидетельство непридуманности произошедших событий, пусть даже такое размытое, бракованное свидетельство. Молодой человек на снимке искусственно улыбался, глядя в камеру. Он был несколько напряжён, как многие люди, которые не умеют фотографироваться, замирают перед фотоаппаратом в нелепой, натянутой неподвижности, словно пытаются стать снимком ещё до того, как вылетит птичка.

Молодой человек с фотографии в жизни был куда приятнее и непосредственнее, с вполне нормальным взглядом и искренней улыбкой, но на фотографии он был больше похож на манекен, сделанный по его образцу.

Справа от него на стене висели книжные полки, густо уставленные разноцветными томами. На одной из полок стояла фотография, изображение на которой различить было практически невозможно, однако угадывалось, что это портрет, правда, не видно чей — мужчины или

женщины, взрослого или ребёнка. Марте очень хотелось догадаться, чей это был портрет, она досадовала, что не запомнила, не обратила внимания, совершенно не придавала никакого значения этому фотоснимку. А теперь уже невозможно догнать время и определить, кто на нём.

Впереди молодого человека неумелый фотограф ухватил край стола, на котором виднелась половинка тетради (вторая половина ушла за границы изображения). Обыкновенная общая школьная тетрадь с тёмной обложкой. Она выглядела совершенно невинно. словно не было в ней того, что в конце концов всё и разрушило.

Марта скотчем прикрепила засвеченную фотографию к стене над монитором компьютера. Стоило ей поднять глаза выше экрана, и она сразу видела фальшивую улыбку молодого человека. Засветка слева казалась ей своеобразным предостережением, предопределением конца этой истории. Иногда так бывает, что в самых умелых руках хороший фотоаппарат с хорошей фотоплёнкой выдаёт странные и непонятные эффекты, словно вмешивается в создание снимка ещё какая-то сила, искажая и внося свои коррективы.

Марта помнила одного городского фотографа, который вдруг обнаружил, что на каждом его фотоснимке появляется то шарообразное, то продолговатое свечение. Она всегда считала, что в этой истории куда больше смысла, чем казалось окружающим.

## ПОРТРЕТ НЕЗЕМНОЙ СУЩНОСТИ

Когда человек решает, что у него необыкновенная судьба, он, как правило, ошибается. Потому что согласно китайской мудрости судить о судьбе можно лишь по прошествии жизненного срока, при гарантированной конечности всех событий.

У Звонкова была вполне обычная, достаточно благополучная судьба. Кандидат биологических наук, завлабораторией, отец двоих детей, муж спокойной, несварливой жены, он в свои сорок лет уже примирился с размеренным течением жизни, и планы его на будущее находились в рамках обусловленного и закономерного.

Было у него хобби, практически вторая профессия, которая в трудные времена к тому же служила и неплохим подспорьем семейного бюджета, — фотография. Фотографировал Звонков на вполне профессиональном уровне, имел дома дорогое, сложное оборудование и семь фотоаппаратов, купленных в разное время и по разным ценам. Он обладал чутьём на мгновенный удачный кадр, когда можно поймать на тонкую амальгаму фотоплёнки остановленную на мгновение динамику жизни. Звонков гордился своим умением фотографировать, участвовал иногда в каких-то выставках, даже как-то был призёром.

Когда он увидел нелепую засветку в углу фотографии — кружочек с размытыми краями, решил, что это брак плёнки. Но на другой фотографии, сделанной совсем в другом месте при идеальном освещении, вновь обнаружилась — на этот раз продолговатая — засветка.

Звонков менял фотоаппараты (как у профессионала, у него было пять фотоаппаратов разных фирм), покупал новую плёнку, новые реактивы. Но на каждом снимке вновь появлялась таинственная засветка. Не имело значения, что снимал Звонков: пейзаж из окна, портрет знакомого, бутылку на столе или кусочек синего неба, — всюду присутствовал таинственный светлый свет.

Звонков стал из человека спокойного нервным и раздражённым. Его мучил этот постоянный брак, ему казалось, что он как-то повинен в порче снимков, что-то не так делает, что-то упускает из виду, о чём-то забывает... Он стал плохо спать, на работе потерял интерес к науке,

но зато просиживал часами в библиотеке, читая на трёх языках новые работы об искусстве фотографии.

Сфотографировав как-то сидящих в кресле жену и дочь (пятилетний ребёнок на коленях у матери головою прижался к груди, а женщина, удерживая девочку, склонила свою голову к её лобу — пасторальный снимок, семейная идиллия), Звонков увидел вдруг на фотографии, что светлое пятно справа от сидящих не так уж и бесформенно и неопределённо. Приглядевшись, можно было увидеть в нём туманное очертание неизвестного лица: провалы глаз, выступ носа, щель рта...

В это мгновение Звонков всё понял. Он — контактёр. Всё это время неземные сущности пытались привлечь его внимание, появляясь на снимках в виде белёсых пятен. Он же их игнорировал. Испорченные фотографии на самом деле были посланиями, сигналами из другой реальности, других измерений. Звонков возликовал. Теперь, когда всё стало ясно и понятно, он почувствовал себя посланником иного разума, первым послом иных сущностей на земле. С этого дня началась его новая карьера.

Звонков выступал по радио, телевидению, печатал статьи в газетах. Везде демонстрировались его фотографии с засветкой, которые не производили впечатления до тех пор, пока удивлённый зритель не видел главную фотографию с выступающим из пятна лицом.

Звонков срочно прочитал всю эзотерическую и околоэзотерическую литературу, имеющуюся в местной библиотеке. Перестроив свою речь на модный ныне глубокомысленный строй современного духовного гуру, он принялся рассуждать о бестелесных сущностях, о возможности контакта с инопланетянами, о посещении пришельцами нашей планеты, о знаниях, которые нёс в себе чужой разум... Вскоре он стал весьма популярной личностью. Обыватели с удовольствием слушали его выступления и сосредоточенно разглядывали снимки. Иногда Звонкова приглашали, чтобы он заснял какое-нибудь

мероприятие или какое-нибудь место, дабы выяснить, насколько в этом событии или месте заинтересованы инопланетяне.

Нашёлся у Звонкова и идеологический противник — местный экстрасенс, который уверял, что на снимках вовсе не инопланетяне, а обыкновенные бесы, которые таким образом людей смущают. Ещё один экстрасенс написал большую статью, доказывающую, что на фотографиях Звонкова — души умерших людей, а сам Звонков — прирождённый медиум.

Фотографии с засветкой пользовались большим успехом и стали вскоре основным видом деятельности Звонкова.

Утро выдалось хмурое и безрадостное, вставать не хотелось, но пять раз в неделю нужно было идти на работу, а значит, пренебрегать личным желанием понежиться в постели. Звонков заставил себя встать. Поёживаясь от прохлады, побрёл в ванную. День не обещал ничего хорошего. Впрочем, Звонков уже давно и не ждал ничего хорошего, выработав в себе привычку к тоскливому влачению бытия. Несколько взбодрившись после душа, он торопливо мазал на кухне маслом хлеб, быстро ел, но вдруг замер, зацепившись взглядом за фотографию, прикреплённую к стене над кухонным столом: молодой человек в клетчатой рубашке... над левым плечом — небольшая засветка. Звонков каждый день переживал такую минуту невольного оцепенения, каждый день замирал под лавиной воспоминания. Эта не слишком умелая фотография была для него не просто фотоснимком, не портретом или воспоминанием, быть может, а мгновением истинной жизни — жизни, которая существовала вопреки рутинной скуке бытия.

Он жалел, что сам не умел фотографировать, и потому не мог в своё время сделать более качественный снимок. Впрочем, он всегда завидовал тем, кто обладал та-

кими навыками, как, например, сумасшедший фотограф дядя Вася из дома напротив.

## БЕЗУМНЫЕ СНИМКИ

То, что дядя Вася, бывший дворник, а ныне заслуженный пенсионер, полубезумен, знают все. Уж таким он уродился. С виду как бы нормальный, но стоит хоть чуть-чуть выпить, а это случалось ежедневно после пятнадцати ноль-ноль, — дядю Васю словно подменяли. Тихий, скромный, деликатный в первой половине дня, он разительно менялся во второй. Вся беда была в том, что дядю Васю волновали глобальные вопросы существования человечества: эффективность парникового потепления атмосферы, озоновые дыры, пришествие инопланетян, тайна острова Пасхи, египетские пирамиды, длительность радиоактивного излучения и чёрные дыры... По каждому вопросу дядя Вася имел свою оригинальную концепцию. Всё объясняющую. И, естественно, проект, решающий одну, а то и сразу несколько глобальных проблем.

Каждый из нас может лелеять свои безумные идеи. Хуже было то, что дядя Вася пытался объяснить важность проблемы и способы её решения каждому, входившему в подъезд. «Послушайте, товарищ», — крепко ухватывал он за рукав выходящего из подъезда и входящего туда. И начинался длинный и страстный монолог, требующий от слушателя, в общем-то, немного — кивка головы вовремя и неусыпного внимания. Единственное, чего не терпел дядя Вася — это когда его обрывали, перебивали или ещё каким-нибудь образом выказывали нежелание слушать. Если таковое происходило, дядя Вася громогласно объявлял человека губителем человеческих душ и обвинял в преступном равнодушии к нуждам че-



ловечества. После чего пускался вдогонку, вновь ухватывал за рукав и продолжал свою речь.

Сердобольные старушки дядю Васю слушали, молодёжь больше надеялась на свои ноги. Менее терпимые граждане два раза дядю Васю даже били. От этого ничего не менялось, а вскоре появилась ещё одна напасть: дядя Вася купил фотоаппарат. Фотоискусству он нигде не учился, приобрёл обыкновенную мыльницу и стал щёлкать. Но, видимо, дар выявился природный: фотографии у дяди Васи выходили замечательные. С одним лишь недостатком: все они были какие-то... карикатурные. Люди на них, естественно, были похожи на самих себя, но только в окарикатуренном виде. Слово талантливый художник захотел создать пародию на чей-либо лик, вот и вышло, что далеко не самые лестные черты характера выявлялись на фотографии.

Дядя Вася, похоже, эти особенности своих снимков не замечал. Он просто фотографировал своих соседей, а потом от всей души дарил им снимки. Которые, как правило, тут же торопливо разрывались на кусочки и опускались в мусорные вёдра. А одна юная барышня с третьего этажа даже за негативами к дяде Васе ходила...

Снимки дяди Васи были хороши чрезвычайно. Именно потому их боялись. Они обнажали в человеке далеко не лучшие, но весьма характерные качества. Соседи при виде объектива дяди Васи стремительно закрывали лицо. Но это не помогало: у дяди Васи обнаружили способности заправского сыщика. Он ловил свою жертву в любом месте и в любой точке...

## ГОЛОС

Душа медленно выбралась из тела, не спеша осмотрелась. Большая комната, две немолодые усталые женщины, застывшие на стульях подле кровати с высокими резными спинками; шифоньер, буфет, иная деревянная мебель, теснившаяся вдоль стен и скрадывающая пространство. Всё знакомое, привычное, уже переставшее раздражать.

Одна из женщин наклонилась к кровати и тихо вскрикнула, быстро-быстро запричитала, заплакала. Попятилась к двери, залилась слезами и вторая. Душа рванулась к ним, хотела успокоить, стала говорить, что ей не плохо, что нет пока причин плакать. Но женщины не услышали, плакали всё сильнее, подошли к кровати, одна из них упала лицом на сморщенную руку, лежащую вдоль края смятой постели, и затряслась вся в беззвучном вое. Вторая, будто вспомнив о чём-то, неуверенно провела рукой по глазам лежащего, закрывая их. Душа тоже приблизилась и посмотрела. На боку в неловкой скрюченной позе (лежать на спине всю жизнь мешал огромный горб) лежало высушенное старостью короткое тело. Длинные, сильные до последнего дня руки были покрыты коричневыми пигментными пятнами, щедро наносимыми временем. Короткая, в складках свисающей кожи шея казалась непривычно худой — когда-то голова словно полностью сливалась с туловищем, и лишь в

последние годы шея вдруг обозначилась. Крупный, тяжёлый лоб нависал над глубоко посаженными глазами. Душа содрогнулась от сострадания, ужаса и радости. Ей было жаль это страшное, сильное тело, с каждым годом всё больше сгибающееся под испуганными, недобрыми взглядами прохожих, никогда не знавшее, лишь жаждущее телесной радости, соответствующей бродящей в нём мощи. Душа почувствовала облегчение, что ей удалось наконец стать свободной от этой груды мышц и костей. Облегчение было столь велико, что захотелось немедленно осознать полнее эту свою новую свободу, покинуть пропитанную запахами лекарств и страждущего тела комнату. Но что-то удержало её. Она поняла вдруг, что ей совершенно необходимо побыть здесь ещё.

Она попробовала снова обратиться к женщинам, ей не хотелось видеть их слёзы, но они не желали или не могли заметить её. Они оплакивали своего брата и были уже где-то очень далеко от души... Вскоре их плач сменился редкими всхлипами. Одна из них стала обзванивать родственников, другая попыталась придать телу более удобную позу. У неё ничего не вышло, все усилия закончились лишь платком, подвязавшим щетинистый подбородок, и душа вспомнила, что ещё три дня назад нужно было побраться, но сил так и не хватило...

И ей захотелось вдруг оказаться где-нибудь совсем в другом месте, подальше от этой неудобной комнаты и мягкой постели, и того, что лежало на ней,— в старом, пронизанном сыростью парке на окраине города, куда не советуют ходить после семи вечера, или у резного, как сказочный теремок, садового домика, или в неведомом, незнакомом месте, куда тянуло всю жизнь, которое манило и которое не имело определённого названия и точных географических координат. Но душа всего лишь выглянула в окно, на скудную детскую площадку с двумя пронзительно охающими качелями, квадратом песочницы и проржавленной горкой, и её удивило, как могла она на-

ходить столь долго среди этого пустого и унылого однообразия, которое чуждо ей, незнакомо. Душа тщательно вновь и вновь осматривала, казалось бы, известный до последней песчинки двор, через который приходилось ежедневно ходить на работу и с работы, в магазин и из магазина... Ей так хотелось отыскать что-то нужное, родное, близкое, она пыталась убедить себя, что всё это — частицы её жизни, всё это — её жизнь. Каждый год ломались во дворе приземистые скамеечки под весёлым натиском молодых обитателей этих домов, и каждый год крепкие, уверенные руки лежащего на кровати подновляли их. Каждый год два раза в неделю натужно гудел под окном мусоросборник, и раздавался зычный крик бабы Кати с первого этажа: «Чтоб тебя, окаянный, спать по утрам не даёшь!» Каждый год облетали листья со всё тянувшихся вверх деревьев и каждую весну появлялись на них снова, всё начиная сначала, маленькие, клейкие, робко и дерзко выпроставшиеся из пергаментных оболочек почки. Что же из всего этого было для неё близким, неразделимым...

Громко, с затаённым восторгом, залаял вдруг небольшой чёрный пудель, спокойно дремавший до того у ног немолодой своей хозяйки, довязывавшей на скамейке у подъезда сизого цвета свитер, залаял, запрыгал, пытаясь поймать светлое трепыханье крошечного мотылька перед носом, и душа поняла, наконец, что напрасно ищет приметы родства, ибо их и быть не может, потому что она первый раз видит этот двор и этих людей, и эти деревья, и весёлого пуделька, и всё, всё вокруг... Она здесь была впервые, и её удивила свежесть молодой листвы и самовлюблённость молодых лиц, покосившиеся столбы фонарей и блеск свежeweмытых окон на третьем этаже. Мир начал стряхивать с себя пыль времени и открылся тысячью новых, ярких, сильных и чистых красок, повеселел, оказался красив и юн. Душа почувствовала волнение, ей хотелось получше познакомиться с новым пре-

красным миром... Как в поезде, когда несёшься вдаль, а за окном проплывает, пробегает навсегда мимо нечто, неведомое, но вот говорят: «Посмотрите, какая красота сейчас будет». И смотришь, торопишься вобрать в себя за несколько быстрых секунд открывающееся чудо, увидел — и дальше, никогда не познать, не узнать... И в душе впервые родилось чувство движения, она хотела было рвануться вперёд, но поняла, что не может. Не могла покинуть комнату, не могла уйти от тела, словно ещё удерживающего её на тонкой ниточке. И ей не понравилась эта зависимость.

Вскоре одна из женщин ушла. Другая села на стул у окрашенной в мутно-жёлтый цвет стены и замерла, словно решив отдохнуть немного перед предстоящими скорбными хлопотами. Душа тоже осталась подле тела, рассматривая его, почти изучая. Ей было неприятно, странно смотреть вот так, со стороны, она ещё слишком хорошо помнила все ощущения этого тела, знала его, привыкла слышать его голос; теперь оно стало не её, лежало почти чужое, почти незнакомое. Она не испытывала страха или удивления, ощущая себя отдельно от этой плоти, ибо никогда не чувствовала своей абсолютной принадлежности уродливому облику, всплывавшему ежедневно в глубинах купленного у антиквара мутного большого зеркала, вставленного в дверцу шифоньера не столько для того, чтобы закреплять увиденный образ за неким «я», сколько, напротив, чтобы вновь и вновь убеждаться, что произошла нелепая ошибка, сбой в системе мироздания, в результате которого к «я» данный образ никакого отношения не имеет; сама эта ошибка оказалась куда большей реальностью, чем следовало бы, и привыкшие доверяться обману глаз люди видели лишь её материализованное проявление, и только теперь удалось, наконец, освободиться от всегда бывшего не своим тела.

Приехала скорая помощь. Равнодушная женщина в белом халате, бегло взглянув на кровать, начала, при-

строившись у стола, быстро писать, иногда заглядывая в распухшую вдруг за последний год историю болезни, поданную сестрой покойного. Душу всё это не заинтересовало, она была занята телом, она искала те тонкие и прочные связи, которые держали её вместе с ним такие долгие годы. Она училась быть вне его.

И эта наука ей нравилась. Потому она даже не заметила ухода врача, прослушала робкие звонки в дверь.

В комнате стало теснее — пришли какие-то люди. Душа не сразу поняла, кто они, и потом изумилась этому, потому что все эти люди были знакомы и привычны, связаны между собой родственно или обстоятельствами судьбы, призрачными нитями общности. И в то же время они казались чужими, совсем чужими, ибо лёгкая фальшь сквозила в воспоминаниях об их отношениях, налёт поверхностности, скрывавший отсутствие духовного родства. Но эти люди скорбели, и многие искренне, и душа почувствовала некоторую неловкость, горьковатый налёт вины за желание поскорее покинуть их, вырваться из старой квартиры, оборвать незримую привязь, удерживающую её. Ей стало казаться, что и она должна опечалиться, осознать расставание как трагедию, но отчуждённость от этих людей, отчуждённость ещё большая, чем при жизни в теле, овладела ею, и она не смогла заставить себя грустить. А родственники, знакомые, соседи всё приходили, сменяя друг друга, как в бесконечно крутящемся калейдоскопе. И вольно гуляли по комнате и коридору, суетились на кухне, переставляли мебель, вытаскивали из плательного шкафа одежду и пересчитывали найденные в ящике секретера деньги. Особая озабоченность суетливой тенью легла на их лица, приглушила печаль. Они становились удивительно похожими друг на друга, словно нечто стирало их черты, делало менее различимыми для души, и ей с некоторым усилием приходилось вспоминать их имена. Всхлипы и причитания проредились разговорами о возрасте покойного и о его

ушедших с ним достоинствах. Кто-то деловито распределял обязанности на ближайшие два дня, и душа вдруг изумилась, подумав, что всё это имеет к ней какое-то отношение.

А к вечеру привезли гроб, остро пахнущий непросохшей сосной, вовсе не желающей гнить в земле. Душе стало жаль невинное, плохо обработанное дерево, и впервые за день щемящая грусть задела её своим невосомым крылом.

Тело куда-то унесли и что-то с ним делали. Душа за ним не последовала, она осталась у окна, впитывая слабое мерцание пробивающихся сквозь пелену смога звёзд. Ей хотелось уйти.

В комнате стало тихо. Душа оглянулась — посреди на столе стоял гроб с телом, положенным на бок. У изголовья горело три свечи. Подле гроба на стульях с высокими резными спинками сидели сёстры умершего и зять. Одна сестра плакала, и душе стало невыносимо жаль её, она вспомнила, что всю жизнь сёстрам приходилось помогать, особенно младшей, которой не повезло ни с мужем, долго и грязно пившим, ни с равнодушными и уже давно живущими отдельно детьми, ни с самой собой, наконец, не умеющей найти ничего своего в текущем мимо неё мире.

Душа приблизилась к ней, и, словно почувствовав её теплые мысли, женщина перестала плакать, вытерла глаза влажным измятым платком и невидяще уставилась уставшим взором перед собой, мерно покачиваясь еле заметно взад-вперёд.

Вторая сестра сидела неестественно прямо и молча, душа знала, что она не столь беззащитна, как младшая, и испытала к ней внезапное острое чувство благодарности за её долгие бдения у постели больного, за её безмолвное игнорирование в течение всей жизни всех невзгод.

Подумав какое-то время о сёстрах, душа наконец вновь взглянула на тело. Оно стало и вовсе незнакомым,

мертвенно-бледным, с внезапно выступившими чужими и чуждыми чертами. Душа вновь содрогнулась от радости, что освободилась от него, и попыталась представить свой новый возможный облик. Она двинулась было к зеркалу, но старшая из женщин вдруг поспешно встала, словно уловив её мысли, вскинула в воздух, расправляя, свой большой чёрный платок и с тихим: «Как же забыла-то», — накинула его на зеркало. Душа не расстроилась. Но впервые подумала о новизне своего состояния, о его сущности. Мысль эта, однако, была недолгой. Душа почувствовала, что это несколько не должно занимать её и что, может быть, нынешнее её состояние куда естественнее, чем прежнее.

Следующий день вновь был полон странной, озабоченной суеты, вносимой людьми, приходящими в потерявшую хозяина квартиру. Всё это неприятно тяготило, но и вносило неясную надежду на скорое избавление от невидимых пут. В какое-то мгновение душа уловила в комнате новое, только что появившееся настроение. Черноволосый юноша, сын соседа с первого этажа, растерянно стоял посередине комнаты у гроба, но смотрел не на покойного, а вокруг, на мебель, находившуюся в комнате, на рамы и панно, висящие по стенам, на деревянные статуэтки и массивные, прислонённые к углу, покрытые резьбой брусья. «Я не знал, что он был художником, — виновато сказал юноша, — я думал — плотник...» «Он был краснодеревщиком, хорошим краснодеревщиком», — ответила мимоходом младшая сестра, но юноша, похоже, её даже не услышал. Он смотрел на гибкие линии и мягкие тона дерева, он словно прощупывал их глазами, впитывал в себя каждый переход, перелив, он оцепенел в немом восхищении, и неосознанная улыбка единения приоткрыла его губы.

Он художник, осознала душа, он художник... И неожиданная новая, сильная радость овладела ею. Душа коснулась своим дыханием деревянной плоти дома, словно



заставляя её ярче обнажить тайную сущность, но движение было слишком резким, и одна из свечей на кромке гроба неожиданно погасла. «Сквозняк», — сказал кто-то, а юноша вдруг ощутил неуместность своей улыбки среди скорбящих лиц и спрятал её. Но уходя, всё оглядывался, словно боясь забыть что-то, потерять, обронить...

И снова была ночь, и безутешное бдение, и едва заметная грусть, пришедшая всё же к душе. А наутро гроб с телом подняли на руки — словно волна подхватила — понесли из квартиры. И душа почувствовала, что путы ослабли, и двинулась следом. Она перемещалась с похоронной процессией через весь город, до кладбища. И там, среди одичавшего сада последнего упокоения, смотрела, как прощаются люди с тем, кем она была, прощаются, касаясь губами пожухлого лба, а потом прячут под крышку и опускают в чёрную, свежую яму. Влажные комья пахнувшей севом земли размеренно опускаются на деревянную поверхность гроба, образуя постепенно узкий холм, и люди неторопливо расходятся, оставляя его в полном одиночестве почти сразу же после появления.

Яркость воздуха проредило первое дыхание вечера, и душа, оставшаяся на кладбище, словно пробудилась. Она сделала небольшой круг у могилы, потом осмотрела и всё кладбище. Она заметила, что зрение её становится всё более и более сильным, — малейшие предметы, изменения оттенков цветов стали выпуклыми и ясными, словно под увеличительным стеклом, и в то же время расширилось панорамное зрение, душа могла рассматривать готовые свернуться лепестки цветка на могиле и в то же время видеть почти всё кладбище, как с большой высоты. Освободившись от таинственной привязи, душа обнаружила и замечательную способность мгновенного, физически не ощутимого передвижения. Она решила сперва, что это полёт, но потом поняла, что полёт непременно связан с физическими ощущениями, чув-

ством парения, рассекания воздуха, она же просто перемещалась, не ощущая и не воспринимая действие как процесс. Душа начала медленное перемещение, тихое кружение по расширяющейся спирали, центром которой оказался свежий могильный холмик. Много раз она оставалась у других, уже осевших могил, на камнях которых полуистёртыми метками стояли имена родственников и знакомых, а иногда и совсем неведомых людей, но с непонятно близкими, что-то напоминающими фамилиями. Душа вспоминала, вспоминала лица и звуки голосов, жесты и краски, слова и ситуации. Ей стало казаться, что она вновь прощается с ними, да так оно и было — она уходила от них второй раз. Иногда она видела людей, бредущих по кладбищенским дорожкам или стоящих у близких могил. Но люди не привлекали её внимание — она их почти не замечала. Границы её кружения всё расширялись, и она оказалась вне кладбища. Ей пришлось остановиться на мгновение, она не могла решить сразу, что ей теперь делать.

Словно лёгкое дуновение ветра пошатнуло её, и вне её или в ней самой она услышала зов, неясный, смутный, неразгаданный голос, влекущий куда-то, голос, до щемящей боли знакомый и несомненно слышанный раньше, но неопознанный и непознанный. Душа рванулась за ним, но он исчез, растаял, оставив после себя лишь неясное, ищущее томление.

И тогда душа продолжила своё кружение, но уже не кладбище, а весь город открылся перед нею. Душа проносилась по его улицам, огибала его здания, проникала в тёмные, пропахнувшие бедностью подъезды, заходила в квартиры. Она выискивала, собирая в единое целое, словно составляя мозаичное полотно, места и пространства, что-то значащие для неё при жизни. Она посещала дома своих родных и знакомых, которых оказалось очень немного, — внутренняя отгороженность всегда стояла невидимой преградой между умершим и людьми,

преграда, созданная не только уродством горба, чудовищной силой, заключённой в крупных узловатых кистях, угрюмостью характера, но и остротой тайного зрения, увеличивающего это расстояние до глубин космических, бесконечных и отпускающего и опускающего эту преграду только в одиночестве собственного дома, в отрешённости работы рук над тёплым телом дерева...

Душа наматывала на себя пустоту чужих домов, скверов, переулков, впитывала краски и звуки, ароматы и объёмы. Она искала знаки своей жизни, заново постигая её неровный ход, переполняясь ею и отторгая её от себя.

Солнце несколько раз поднималось и опускалось за видимый край земли, а душа всё кружила и кружила по городу, по знакомым и забытым улицам, по поверхностям крыш домов, по аллеям старых парков. Она заходила в театры и цирк, в рестораны и бары, туда, где ей никогда не приходилось, да и не хотелось бывать, но без этого образ города представлялся ей теперь неполным, ущербным, а ей хотелось понять всю его скрытую в геометрии сущность.

Теперь ей был известен каждый закоулок города, каждая каморка любого из его зданий, и это доставляло ей странное удовлетворение. Город, который воспринимался раньше лишь как некое абстрактное географическое название, в котором нужно было существовать, но который был всё же отторгнуто чужим, открыл ей свои пространства, своё тайное строение, не известное ни одному архитектору или градостроителю, своё истинное настроение и своё будущее движение. И, познав город, душа поняла, что может отпустить его. Её кружение прекратилось, она замерла, вновь не зная, куда направиться теперь.

Что-то неясно привлекло её внимание — женщина, идущая по улице, почему-то обеспокоила её. В эти дни душа словно забыла о существовании людей, и сейчас

она даже удивилась своему непонятному влечению к этой женщине.

Душа оглядела её, торопливо спешащую вдоль тротуара. Немолодое, стёртое лицо с водянисто-серыми глазами, тонким носом и плохо вылепленными губами. Волосы, когда-то бывшие русыми, а теперь посеревшие от седины, упрятаны под воздушный чёрный платок. Тёмно-коричневое платье, не по сезону тёплое, две переполненные сумки в огрубевших от домашней работы руках.

За этой женщиной душа следовала с полквартала, и вдруг словно ледяная струя сожаления охватила её — ведь это была младшая сестра, лицо которой позабылось, потерялось в бесконечном кружении.

Душа отправилась за ней и вскоре оказалась снова в своей квартире, когда-то столь долгожданной, и там снова было много людей, озабоченно ходивших из комнаты на кухню, приносивших и уносивших на стол и со стола тарелки с едой, напряжённо обедавших и говоривших, говоривших о покойном, вспоминая встречи с ним и дела его, отдельные беседы и случаи. Тёплые волны близости с этими людьми, невозможной ранее близости полного отстранения, охватили душу, подняли своим сильным течением, и она всматривалась до бесконечности в глаза и лица, прочитывая прошедшие и грядущие судьбы, тайные и явные пути и ощущая, ощущая, наконец-то, родство, которое давно, с первых осознанных лет находилось где-то за границами выпирающего горба, вне досягаемости сильных рук, ускользало с каждым словом и жестом, оборачивалось ложью и отчуждением, было столь же привлекательно, сколь пугающе. И теперь, прикоснувшись к каждому из находившихся здесь, душа поняла, что может проститься с ними, соединив их в том единстве, которое она начинала постигать.

Она провела в своей квартире весь день, наслаждаясь тайным, не стеснённым физическим телом общением. И лишь поздним вечером, когда все разошлись, сёстры

вымыли посуду и пол, душа поняла, что пора уходить, ибо уходить теперь было легко.

И снова едва слышно, издалека, из туманной неясности впереди или, напротив, совсем рядом, послышался властный, манящий голос, от которого она содрогнулась и заспешила в путь, к другим землям, чтобы и их объединить в свершаемом ею единстве. Душа перенеслась на окраину города, прислушалась — но зов потерялся, затих на время. Однако она понимала, что найдёт его источник, нужно лишь подождать, а пока, пока впереди вся планета, в которой так много красоты и мощи и которую необходимо узнать и увидеть, в последний раз увидеть новым обострившимся зрением и не потерять ни единой крупички её великолепия.

И душа отправилась в путь, меняя города и страны, проходя сквозь леса и воды, объемля луга и пустыни. Она принимала в себя каждую веточку и травинку, она впитывала пенье птиц бразильских джунглей и древний очерк палестинских деревьев, артистическую архитектуру Парижа и тянущую знойность старинных улочек Стамбула, грацию мягких движений охотящейся пантеры и резкость изломанных линий палочника, смелость в сочетании красок лепестков орхидеи и дымчатые тона засыпающей тундры, изысканную резьбу листьев пальм и аскетическую строгость форм кипариса, гортанные певучие звуки арабского языка и отрывистость речи бушменов, тягучее, умудрённое звучание ситара и быструю дробь ямайского барабана.

Иногда она надолго замирала перед каким-нибудь чистящимся зверьком, подолгу разглядывая его старательные движения и мягкие волны укладываемой шерсти, а потом вдруг стремительно охватывала огромные пространства, постигая уже мгновенно всё свершаемое на них. Порою какое-нибудь здание или картина завораживали её на несколько часов, привлекая каждым камешком, выбоинкой в стене, малозаметной царапиной на

штукатурке или мельчайшим мазком, волосом от кисточки, прилипшим к холсту, игрой света, скрытой в наслоениях краски — тайные дороги произведений и творцов открывались в них и преисполняли душу, внезапно убывая её странствие, позволяя мгновенно вбирать в себя всё задуманное и сотворенное.

Вся планета уже пролетела сквозь неё, и далёкий чёрный континент оказался последней точкой пространства, посещённой ею.

Словно тихий, неслышный голос вновь позвал её издалека, она устремилась ему навстречу, подчиняясь внезапному порыву, проникла в какую-то деревянную постройку причудливой архитектуры и очутилась в светлой просторной комнате с большими, от пола до потолка, окнами, полукруглыми дверьми и камином, прислонившимся к оббитой узкой деревянной реечной стене. В комнате вообще было очень много дерева, стояли полукругом изогнутые деревянные креслица, столик на гнутых ножках поддерживал светлую точёную фигурку девушки с кувшином, выполненную из незнакомой породы, диван с деревянной резной спинкой устало сутулился в углу комнаты, вдоль стены висели устрашающие злых духов ярко раскрашенные деревянные маски, огромная ступа с украшенным спиралевидной резьбой пестиком стояла около окна... Казалось, это был музей или комната коллекционера. Но вновь прозвучал глас, уже настойчиво, совсем близко, и душа заметила, наконец, в углу комнаты, напротив дивана, лёгкую, словно о воздух опирающуюся этажерку совсем иной, нездешней работы, иной выделки, иной школы. Мягко светился, подчеркивая все естественные оттенки дерева, внутренние узоры, золотистый лак. Был он положен ровно, без единого невольного утолщения, словно не тягучим, быстро застывающим веществом покрывали дерево, а облили быстрым и сильным, не дающим тени лучом света, или само дерево выпустило этот свет, скопленный годами по крошечке от

каждого луча солнца. Да и узорные эти формы, плавные повороты линий, мягкая резьба, нежные, как линии расцветающей девушки, изгибы, переходы тонов не сделаны были, а лишь проявлены мастером, вызволены из тьмы сокрытия, обнажены чуткому взору. Таинственные письмена древнего, забытого людьми и ведомого деревьям языка сложились в стремительные узоры на невесомых полочках, напоминали застывшие в счастливом мгновении струи водопада, вокруг которых сияли незримые искристые брызги, ножки разбегались водяной пеной, и этажерка, казалось, парила, не касаясь пола. Вверху стойки этажерки сначала слегка утолщались, словно закурдявившиеся листья, вглядевшись в которые можно было увидеть светлые, добрые взгляды и ласковые улыбки, а потом закручивались ввысь, раздробившись на несколько свитых прядей.

Зачарованно смотрела душа на просветлённое деревянное чудо, ибо не думала увидеть когда-либо вновь любимейшее своё детище, рождаемое долгими, бесконечно долгими осенними вечерами, когда не было для неё отрады ни на тёмной улице, ни в тесной комнате, и мир привычно покрывался тёмным пологом гнетущего одиночества, когда недостаточно света от недолгого солнца, и, чтобы не захлебнуться, не утонуть во тьме, в липком круговороте неудавшегося, ненужного существования, создавался этот нездешний свет напоённого свободой дерева, любовно извлекались для бытия танцующие завитки и тихо лепечущие узоры, воздушная сущность тяжёлой плоти.

Как очутилась здесь этажерка, как попала на другой континент, в иную культуру, душа не знала: многие работы, выполненные тяжёлыми руками горбуна, путешествовали по свету, и кто и как predetermined их путь, кто отправлял их в неблизкие дороги...

Далёкая страна приютила деревянное чудо, и неизвестный человек смотрел на него быстрыми вечерами,

впитывая нездешний свет. Душа прильнула к тёплому дереву и вновь услышала голос, сильный, властный, он был совсем рядом, он звал оставить этот познанный и воспринятый мир, которым она насытилась, вобрав в себя, и душа вспомнила, что не раз слышала голос этот и раньше, что и эта, находящаяся перед нею работа была выполнена по велению тайного зова, который был вне её и был в ней, который поднимался из неё, распутывая тесный её кокон, и душа забывала себя, ибо уже познала, выливалась-вливалась в могучий, всесильный глас, живший в ней изначально, смутно угадываемый в мгновения глубокого вслушивания и отстранения, вечный и сильный, бывший всем, и ею тоже. И она следовала за ним, она возвращалась и оставалась здесь, растворяясь в изобилии земного бытия, ибо уже нечто иное, обновлённое и светлое, стремилось вверх, послушное теперь ничем не заглушаемому зову.



# ВЕДЬМА

## Одноактная пьеса

### СЦЕНА 1

*Просторная комната деревянной избы. Слева — большая русская печь, рядом — ухваты и кочерга, вязанка дров. Посередине — небольшой стол, две лавки по бокам. На задней стене — окно, в котором виднеются раскачивающиеся ветви деревьев, около окна — две ступы с мётлами. Справа в стене — дверь и лестница на чердак. На лавке лежит кот, лениво почёсывает живот. На печи сидит ворон, строгий и нахохлившийся.*

**Кот.** Что-то она задерживается.

**Ворон.** Если на лавке лежать, то долго покажется. А она по делам, кормилица...

**Кот.** Дела делами, а дома надо вовремя быть, дом — это святое.

**Ворон.** На то ты и дома оставлен, чтобы ждать да за хозяйством следить.

**Кот** (*начинает нервно ходить по комнате*). Я — для хозяйства? А ты, интересно, на что?

**Ворон** (*гордо*). А я — мудрость беречь. Сохранять, умножать, запоминать.

**Кот.** Лучше бы ты какой-нибудь обед сберёг и сохранил. Есть хочется, живот подвело.

**Ворон** (*заинтересованно*). Поищи, может, что-нибудь и осталось.

*Кот начинает рыскать по полкам и углам, ухватом вынимает из печи огромный чугунок, извлекает из него кость.*

**Ворон.** И всё?

**Кот** (*подозрительно смотрит на Ворона*). Удивительно, но всё.

**Ворон.** Почему так на меня смотришь?

**Кот.** Да нет, это я так... Худолат Иванушка 149-й был...

**Ворон.** Иванушка 148-й, вечно ты всё путаешь.

*Кот снова принимается за поиски и где-то отыскивает кренделёк, с победным визгом стелет на стол скатерть, ставит на неё тарелку, кладёт по бокам вилку и нож, на тарелку — кренделёк, повязывает на шею салфетку, садится за стол.*

**Ворон.** Шум за окном. Летит, наверное.

**Кот.** Где? Не слышу!

*Бросается к окну, выглядывает. Ворон соскакивает с печи, быстро съедает кренделёк, запрыгивает назад.*

**Кот** (*возвращается к столу*). Нет никого.

*Обнаруживает отсутствие кренделька, с криком начинает гоняться за Вороном. Раздаётся стук.*

## СЦЕНА 2

**Ворон и Кот** (*хором*). Кто там?

**Иванушка** (*за стеной*). Ты сначала накорми, да спать уложи, да в баньку своди, а потом спрашивай!

**Кот** (*недовольно Ворону*). Ещё один...

**Ворон** (*громко*). Ну, заходи, если сможешь.

**Иванушка.** Избушка, избушка, встань ко мне передом, к лесу задом!

**Кот.** Началось... Теперь у него головушка кругом пойдёт, и покажется, что избушка к нему повернулась.

**Ворон.** Не поймёт, что избушка на месте осталась, она незыблема — она столп этого мира.

**Кот.** Не надо так умно. Всё равно Иванушкам невдомёк, что мир вокруг избушки вертится.

**Ворон.** Хотя...

**Кот.** Что «хотя»?

**Ворон.** Если подумать, может, и избушка вертится.

**Кот.** Не бывать тому!

**Ворон.** Конечно, не бывать. Но если смотреть с точки зрения относительности...

**Кот.** Ты лучше оттуда, где сидишь, смотри. А не с какой-то относительности.

*Раздаётся скрип, как будто где-то проворачивают большое колесо. Но в избушке ничего не сдвигается, и по-прежнему качаются ветви за окном. Открывается дверь, входит Иванушка.*

**Иванушка.** Ну, здравствуй, хозяйка!

**Кот и Ворон (хором).** Проходи, гостем будешь!

**Иванушка.** Говорящие!..

**Кот (с гордостью).** А то!

**Иванушка (подходит то к Ворону, то к Коту, с удивлением разглядывает).** Я думал, врут всё, таких не бывает...

**Ворон (морщится, ворчит недовольно).** Ну и воспитание.

**Кот (позирует, как перед фотообъективом).** Конечно, не бывает. Мы уникальные, совершенно особенные. Могём автограф дать.

**Иванушка.** Правда? *(Начинает шарить по карманам, через некоторое время говорит с сожалением.)* Ни ручки, ни бумаги. Может, у вас есть?

**Ворон (сердито).** Нет!

**Кот.** А ты зачем, собственно, пожаловал?

**Иванушка (мнётся, чешет затылок).** Ведьма нужна...

**Ворон.** Понятно, что нужна. А зачем?

**Иванушка.** Говорят, дорогу к Василисе подсказать может.

*Ворон хмыкает, Кот явно раздосадован.*

**Кот.** И что всем эта Василиса сдалась. Ты её хоть видел?

**Иванушка.** Нет, вживую никто не видел. А портреты имеются. *(Достаёт из кармана глянцевый журнал и показывает портрет красавицы.)*

**Кот.** Так это, может, фотошопная.

**Иванушка** *(агрессивно)*. Не тронь мечту!

**Ворон.** Успокойся! Знает ведьма дорогу, и покажет, и расскажет, и поможет. А тебя как зовут-то?

**Иванушка.** Иванушка.

**Ворон.** Нет у людей фантазии...

**Иванушка.** Фантазия тут при чём?

**Кот.** Ты его не слушай! Он у нас умный сильно.

**Ворон.** Ты за стол садись, сейчас самовар разогреем, может, какой-нибудь кренделёк найдём.

**Кот.** После тебя найдёшь.

**Иванушка.** А ведьма скоро будет?

**Кот.** Скоро, скоро, как время скоротаем, так и будет.

**Ворон.** Ты, главное, жди.

**Иванушка.** Да мне некогда тут рассиживаться! Мне за Василисой надо. Что это такое: пришёл, а ведьмы нет! Так не положено. Раз ведьма — сиди на месте, чтоб не искать тебя по всему лесу!

**Ворон.** Правда искать пробовал?

*Иванушка смутился.*

**Кот** *(миролюбиво)*. Отдохни пока — перед дальней дорогой полезно.

**Иванушка.** Знаешь, что дальняя? Может, и где знаешь? Тогда и ведьма не нужна.

**Кот.** Я? Нет, не знаю. Я животное домашнее, всё больше по хозяйству да во дворе... Нигде не бывал, не летал никуда даже.

**Ворон.** Где уж тебе.

**Иванушка** (*мечтательно*). Укажет ведьма дорогу, найду Василису, женюсь, царём стану — жизнь будет как в сказке...

**Ворон.** Это как?

**Иванушка.** Это когда хочу — встал, когда хочу — лёг, когда хочу — сплю, когда с красавицей милуюсь, а когда на развлечения езжу.

**Кот.** На какие?

**Иванушка** (*неуверенно*). Разные там, попеть, потанцевать, погулять али ещё что... Буду царём — подробней узнаю.

**Ворон.** А вдруг Василиса не глянется? Внешностью хороша, а характерами не сойдётесь?

**Иванушка.** Быть такого не может! Какая разница, какой у красавицы характер.

**Кот.** Это как сказать...

**Ворон.** Ладно, потом поговорим, а пока в баньку ступай, помойся с дороги.

**Иванушка.** Вот это дело!

**Кот.** Пойдём, провожу.

*Выходят с Иванушкой из избы.*

**Ворон.** Ничего, кому-нибудь и наша понадобится.

*Раздаётся стук.*

### СЦЕНА 3

*Голос за стеной.*

**Иванушка 150.** Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!

*Раздаётся скрип проворачиваемого колеса.*

**Ворон.** Что за нашествие сегодня...

*Входит, резко распахнув дверь, Иванушка 150.*

**Иванушка 150.** Эй, хозяйка, принимай гостей!

**Ворон.** Ишь, раскричался!

**Иванушка 150.** А это ещё что за птица? Мне ведьма нужна, а не пернатые какие-то.

**Ворон.** В чужую избу пришёл — ни здравствуйте, ни позвольте присесть!

*Иванушка 150 хмыкает, садится за стол, стучит по нему.*

**Иванушка 150.** Хозяйка! Где прячешься? Некогда мне тут рассиживаться! Говори, где Василиса, коня давай, меч-кладенец да накормить-напоить не забудь!

**Ворон** (*вдруг миролюбиво*). Да ты не шуми, не шуми так! Будет она сейчас. По делам вышла. Сам жду. Придёт и всё тебе даст: и коня, и меч-кладенец!

**Иванушка 150.** Быстрее давай! А правду говорят, что нога у неё костяная, и коса седая, и зубы до живота достают?

**Ворон** (*ставит на стол тарелки, делает вид, что готовится угощать гостя*). Врут, от зависти придумывают. Ведьма наша покраше твоей Василисы будет.

**Иванушка 150.** Да ну?

**Ворон.** Правду говорю. Василиса сама у неё средства спрашивала. Лосьоны всякие, крема. Чтоб похожей быть.

**Иванушка 150.** Не верю. Была б такая красавица — в лесу бы не пряталась. (*Немного подумав.*) А как у неё с

состоянием? Полцарства там или хотя бы княжество на первый случай? И мамки всякие, няньки, обслуга, в общем?

**Ворон** (*честно*). Нет ничего. Кроме красы, мудрости да трудолюбия, ничего нет.

**Иванушка 150** (*сразу поскучнев*). Так когда придёт? Ты б её вызвал как-нибудь. Некогда мне рассиживаться. За Василисой пора. А то опередит кто-нибудь.

**Ворон**. Сейчас, сейчас будет. Слышишь, идёт кто-то.

#### СЦЕНА 4

*Дверь открывается, входит Кот.*

**Кот**. Всё в порядке, моется. (*Замечает Иванушку 150, мурлычет.*) О, у нас гости!

**Иванушка 150** (*строго*). Ты мне зубы не заговаривай! Ещё один говорящий выискался! Говори, где ведьма! А не то я вас сейчас за загривок, перья повыщиплю, хвосты повыдеру — всё скажете и покажете!

**Ворон и Кот**. Ой, не надо, богатырь, ой, не надо! Пожалей нас, малых!

**Кот**. Сами ждём не дождёмся! Ты не серчай, в баньке пока попарься, отдохни с дороги!

**Иванушка 150**. И где же в этой конуре отдохнуть прикажете? Да баньки вашей я что-то не заметил!

**Ворон**. Так тут же ведьма живёт! Значит, волшебное всё, необыкновенное. И банька такая, что сразу не заметишь: заколдованная она. А как войдёшь — там хоромы белокаменные, венички с ручками позолоченными, девушки с полотенцами и прочие чудеса небывалые!

**Иванушка 150**. Где ваша банька заколдованная? (*Оглядывается.*)

*Кот подбегает к печи, ухватом выдвигает из неё чугунок.*

**Кот**. Вот вход в неё.

**Иванушка 150.** Это?

**Ворон** (*убеждённо*). Он и есть. Ты, конечно, можешь отказать. Не всем по нраву и по силам ведьмина банька. Это на любителя. Девочки там, венички...

*Кот тем временем плещет в чугунок воды.*

**Иванушка 150.** Но, но! Ты за труса меня не считай!  
**Кот и Ворон.** Ни-ни-ни!

*Иванушка лезет в чугунок, кот быстро накрывает чугунок крышкой, задвигает в печь, закрывает заслонкой. Ворон разжигает дрова.*

## СЦЕНА 5

*Открывается дверь, входит Алёнушка.*

**Алёнушка.** Здравствуйте, любезные хозяева! Добрые вам года и долгие лета! Разрешите погреться, пустите переночевать!

*Кот и Ворон с изумлением смотрят на неё. Алёнушка, помявшись, собирается уйти.*

**Кот** (*Ворону*). Избушку-то она, кажется, не поворачивала?

**Ворон.** Точно не поворачивала. Так вошла.

**Ворон** (*Алёнушке*). Проходи, красна девица. Садись, гостьей будешь.

**Алёнушка.** Спасибо. Я до утра только. Мешать не буду, в уголочке посижу.

**Кот** (*галантно*). Мы тебя на печи уложим, пуховую перинку постелем!

**Ворон.** Как зовут тебя-то?

**Алёнушка.** Алёнушка.

**Кот** (*ставит на стол самовар*). Садись, чайку попей.



**Алёнушка.** Давайте я вам помогу, приберу, приготовлю. *(Вынимает из ступы метлу, начинает подметать.)* Пыльно тут у вас, ничего, я быстренько.

**Ворон.** Как же ты в лесу так поздно оказалась? Заблудилась?

**Алёнушка.** Иванушку ищу....

**Кот.** Братика?

**Алёнушка.** Нет, братик дома, слава богу, нашёлся. Жениха своего.

**Ворон** *(мрачно).* А что с ним?

**Алёнушка.** Бросил он меня... Полюбил Василису Прекрасную, красавицу заморскую, и ушёл на ней жениться.

**Кот.** И как же ты его вернуть хочешь?

**Алёнушка** *(убеждённо).* Наваждение это! Найду, напомню, как друг друга любили, как о жизни долгой мечтали и о смерти в один день.

**Кот.** С Василисой соперничать решила?

**Алёнушка.** Василиса, говорят, луны прекрасней, ста мудрецов мудрей... Я Иванушку не виню: перед Василисой никто устоять не может. Где уж мне.

*Ворон отбирает метлу у Алёнушки, подводит её к лавке.*

**Ворон.** Ты посиди, отдохни, ты же гостья.

**Алёнушка.** Да я не устала!

*Пытается забрать метлу обратно. Метла прыгает между Воронем и Алёнушкой, пытается взлететь.*

## СЦЕНА 6

*Раздаётся скрип проворачиваемого колеса, входит Иванушка в банном халате. Видит со спины Алёнушку с метлой.*

**Иванушка.** Хозяйка пришла!

*Алёнушка оборачивается.*

**Алёнушка.** Ванечка!

**Иванушка** (*разочарованно*). Алёнушка, ты тут что делаешь?!

**Алёнушка** (*подходит к нему*). Ванечка, за тобою в тёмный лес пошла, семь лаптей истоптала, по оврагам лезла, на холмы взбиралась, зверя дикого из сетей вызволяла, птицу лесную от гибели спасала, всех спрашивала, где мой Ванечка, где мой суженый.

**Иванушка.** Алёнушка, зря ты так! Возвращайся домой. Я сказал — Василису люблю. Она то ли принцесса, то ли волшебница. А я парень хоть куда, сама говорила! Мне только такую и надо.

*Алёнушка плачет. Кот и Ворон подходят к ней, успокаивают.*

**Иванушка.** А вкусно у вас тут пахнет!

**Кот** (*зловеще*). Скоро обедать будем! Оно чем наваристей, тем вкуснее.

**Алёнушка.** Ванечка, зачем же ты мне слова говорил ласковые? Зачем смотрел с любовью? Зачем обещал жизнь счастливую?

**Иванушка** (*раздражённо*). Будет тебе! Сказал — другую люблю!

**Алёнушка.** Ты ж не знаешь её!

**Иванушка.** Чтоб любить, знать не обязательно.

**Ворон.** Это он прав...

**Кот.** Иванушка, ты полезай пока на печь, отдохни после баньки, и Алёнушка успокоится, потом ужинать сядем...

**Иванушка.** Отдохнёшь с вами!

**Кот.** Не хочешь, так пойдём во двор, покажу тебе пока коня богатырского, ведьма для тебя его приготовила!

*Вдали раздаётся ржание.*

**Кот.** Слышишь, как не терпится ему на поиски Василисы?

**Иванушка.** А что, ведьма пришла? Коня привела? Это дело!

**Ворон.** Не пришла, но вот-вот будет.

*Кот и Иванушка уходят.*

## СЦЕНА 7

**Ворон.** Алёнушка, ты хорошо подумала, действительно своего Иванушку вернуть хочешь?

**Алёнушка.** Больше жизни хочу!

**Ворон.** Глупость это, конечно... Но средство верное есть.

**Алёнушка.** Какое?

**Ворон.** Трудное средство...

**Алёнушка.** На всё готова, лишь бы милого любовь вернуть!

**Ворон.** Подумай, Алёнушка! И без милого много чего интересного есть, мы бы могли с тобой книжки вместе читать, по лесу бродить, травки собирать, за зверьём наблюдать... Я бы много чего интересного тебе показал.

**Алёнушка.** Хочу быть вместе с милым Ванюшей!

**Ворон.** Как хочешь...

**Алёнушка.** Говори, что нужно! Тридцать девять царств пройти? Дракона сразить? Освободить кого-нибудь? Косу отрезать? В подземное или подводное царство спуститься? Ты только скажи.

**Ворон.** Это всё не трудно. От себя тебе отказаться нужно будет. Я научу как, покажу как. Только инструкциям следовать точно будешь. Говорить, что скажу, и делать, что повелю.

**Алёнушка.** Я на всё готова!

**Ворон.** Тогда пойдём на чердак.

**Алёнушка.** Почему на чердак?

**Ворон.** Со мной наверх поднимешься, а к Иванушке своему сверху спустишься.

*Ворон и Алёнушка по лестнице поднимаются на чердак.*

## СЦЕНА 8

*Возвращаются Кот и Иванушка.*

**Иванушка.** Ай да конь, просто зверь! С таким конём Василиса точно моя будет!

**Кот.** Всенепременно!

**Иванушка** (*оглядывается*). Ушла? Хорошо. Надоела. Как пчела на мёд, приставучая.

**Кот.** Любит...

**Иванушка.** Человек к лучшему стремиться должен. Я сначала думал, что лучше Алёнушки нет. Потом узнал, что бывает. Жизнь одна, развиваться надо.

**Кот.** Точно.

*Раздаётся негромкая музыка, изба погружается в полумрак, яркий луч света выхватывает лестницу. По ней медленно спускается Алёнушка. Она преобразилась: в высоких сапогах, мини-юбке, с распущенными рыжими кудрями, ярко накрашена, на плечах — тонкая шаль. За ней идёт Ворон, несёт кальян.*

**Иванушка.** Василиса! Ты здесь!

*Алёнушка молча проходит мимо, идёт вокруг стола. Иванушка следует за ней. Алёнушка резко поворачивается, толкает Иванушку на лавку. Тот, ойкнув, садится. Алёнушка ставит на лавку ногу, наклоняется к Иванушке.*

**Иванушка.** Василиса! Царица моя!

**Алёнушка.** Называй, как хочешь. Хочешь — Василиса, хочешь — Алёнушка.

*Поворачивается, направляется к двери. Иванушка рванул за ней, упал, запутался в полах халата.*

**Иванушка.** Василисушка, стой, я ж тебя по всему свету искал! (*Коту.*) Где мои штаны?

**Алёнушка** (*возвращается к нему, наступает на него ногой*). А зачем тебе штаны? Ты что в штанах, что без — всего лишь Иванушка, не принц, не королевич...

**Иванушка** (*лѐжа*). Да я с тобой хоть принцем, хоть королевичем стану, королева ты моя! Да я ради тебя всех злодеев убью, всем драконам головы снесу, в тридевятое царство пойду, подземный и небесный мир одолею!

**Алёнушка** (*снимает шаль, обматывает её вокруг шеи Иванушки, поднимает его и ведёт на этом импровизированном поводке*). Убивай драконов, приноси мне сокровища несметные, служи мне верой и правдой, да не твоя я и твоей не буду! Уже сотни королевичей без голов оставила, и твоя голова не дороже.

**Иванушка**. Бери всё, что хочешь, бери хоть службу мою, хоть голову! Только позволь своею назвать хоть на денёчек!

**Алёнушка** (*смеётся*). На денёчек?

**Иванушка**. На часок, на минутку!

**Алёнушка** (*отталкивает его от себя*). За одну лишь минутку? Всё отдать хочешь?

**Иванушка**. Всё!

**Алёнушка**. Сильна любовь! А если и за минуту с тобой кто-нибудь всё отдать хочет?

**Иванушка**. Василисушка, я о тебе говорю! Какое мне до других дело!

*Алёнушка с досадой резко взмахнула рукой с шалью. Загремел гром, замигал свет, ходуном заходили ступы. Алёнушка вздрагивает.*

**Ворон**. Ничего, ничего, это нормально.

*Ставит на стол кальян. Алёнушка подходит, садится на стол, втягивает в себя дым, протягивает мундштук Иванушке.*

**Алёнушка**. Покури со мной вместе!

**Иванушка**. Что это?

**Кот**. Кальян. Модно сейчас.

**Иванушка**. Что прикажешь, хозяйушка!

*Бросается к кальяну и жадно затягивается. Алёнушка встаёт на стол и медленно танцует, Иванушка смотрит. Постепенно её танец становится всё более и более страстным. Она спускается*

со стола, начинает в ритме быстрого танго кружить с Иванушкой вокруг стола. Ворон и Кот поспешно взбираются на печь. Разноцветные огни заполняют избу. Мётлы стучат в ступах. Вдали слышится уханье и подвывание. Вдруг Алёнушка резко прекращает танец, отталкивает Иванушку. Тот падает на колени, преданно смотрит на неё. Алёнушка отворачивается.

**Ворон** (*тихо*). Запомни, Алёнушка, вкусил он любовного дыма, теперь глаз с тебя не сведёт, будет ползти за тобой хоть на край света, будет ловить каждое слово, каждый жест. Будет с тобой до последних дней своих.

**Алёнушка** (*не шевелясь*). Зря послушалась сердца глупого... Как исправить, что наделала... Не меня он любит — Василису. Да и не любовь это — наваждение. Мне не такая любовь нужна. Зря пришла в тёмный лес Алёнушка.

**Ворон** (*спускается к печи, подходит к неподвижным Иванушке и Алёнушке*). Полюбила Алёнушка Иванушку, полюбил Иванушка Василисушку, горько плакала Алёнушка, долго печалилась. В тёмный лес пошла, в чашу самую. Семь лаптей истоптала, нашла Ванечку. Только средства нет иного, Алёнушка, кроме дыма обманного. Не вернуть тебе иначе любимого.

**Алёнушка**. Пусть тогда идёт к Василисе.

**Ворон**. Какая разница, почему он тебя любит — по собственной дури или от дурмана кальянного?

**Алёнушка**. Пусть идёт к Василисе.

**Кот** (*вкрадчиво*). А Алёнушка? Может быть, тут, в лесу останется?

**Алёнушка**. Назад в дом свой пойдёт Алёнушка, будет ждать там глупого Ванечку.

**Ворон и Кот** (*вместе, разочарованно*). Домой?

**Алёнушка** (*скидывает оцепенение, подходит к ним*). Не могу так! Пусть уйдёт он к Василисе, буду ждать, год за годом. А вдруг вернётся. У неё, говорят, характер неласковый.

**Кот**. Ой, глупая девчонка! Ой, какая глупая девчонка! Будешь ждать, пока состаришься? А если не придёт?

**Алёнушка.** Значит, судьба такая...

**Ворон** *(в сердцах)*. Судьба! Или дурость человеческая. Предложили книжки читать, по лесу ходить, Кот вон истории удивительные рассказывать может.

**Алёнушка** *(жалобно)*. Расколдуйте его!

**Кот.** Тьфу!

**Алёнушка** *(грозно)*. Расколдуйте.

*Ворон подходит к Иванушке, берёт его за шкуру, встряхивает и выкидывает за дверь.*

**Ворон** *(вслед Иванушке)*. Конь в стойле, бери и скачи к Василисе. Чтобы духу твоего здесь не было!

*Алёнушка начинает заплетать косу.*

**Алёнушка** *(робко)*. Пойду я?

**Кот.** Иди, коли хочешь.

*Алёнушка, тихонько всхлипывая, уходит. Кот садится за стол, на лавку, Ворон запрыгивает на печь. Сидят, нахохлившись.*

## СЦЕНА 9

*В печи отлетает заслонка, оттуда вылезает Иванушка 150, весёлый и нарядный.*

**Иванушка 150.** Ух, хороша банька! Все косточки пропарил, все суставчики прогрел! Сила молодецкая так и играет.

**Ворон** *(Коту)*. Ты что, вместо обычной воды молодильную налил?

**Кот** *(хватается за голову)*. Ой, перепутал!

**Иванушка 150.** Так, где хозяйка ваша? Давай сюда ведьму, а то сейчас от вас самих мокрого места не останется! А если она артачиться будет, от меня что скрывать, так и её за космы!

**Ворон** (*угрюмо*). Сказали же — сами ждём, никак не дождёмся.

**Иванушка 150.** И долго ждёте?

**Кот.** Да уж лет триста...

**Иванушка 150.** Сколько?

**Ворон.** Триста или четыреста!

*Ворон встаёт, в избе снова меркнет свет, на стене видна тень от огромных крыльев. Голос Ворона становится глуше, громче.*

**Ворон.** А ты, Иванушка, уходи поскорей, пока ноги целы. День у нас тяжёлый, сами от ожиданий устали, думали, сегодня хозяйшка придёт, а она не явилась. Огорчены мы и сердиты. Того и гляди тебя гневом своим испепелить можем.

*Ворон выдыхает в сторону Иванушки 150 столб огня.*

*Иванушка 150 вздрагивает, пятится к двери.*

**Иванушка 150.** Но-но, я богатырь...

*Кот вдруг издаёт львиный рык, Иванушка мгновенно выскакивает за дверь. Свет в избе снова становится нормальным.*

*Ворон и Кот садятся на лавки за стол.*

**Ворон.** Поесть бы чего...

**Кот.** Сейчас поищу, может, где кренделёк завалялся.

*Раздаётся стук.*

**Занавес.**



## ПОГОСТ

В последний год ушедшего века в Алма-Ате в сводке криминальных преступлений было зарегистрировано ещё одно (в бесконечной череде) достаточно обыденное тройное убийство, совершённое, как отмечено впоследствии, психически нездоровым человеком. Молодая женщина, медик по образованию, отравила всю свою семью — мать и двух сестёр.

Психиатры уверяют, что в последние десять лет резко возросло количество психических заболеваний. Убийство, совершённое больным человеком: что тут можно ещё сказать? Если бы не одна особенность: факт убийства был обнаружен только через полгода. Всё это время тела жертв оставались в квартире, где жила их родственница-отравительница. Она была медиком, как уже упоминалось выше, и поэтому смогла вполне грамотно и профессионально забальзамировать тела.

Конечно, это был длительный процесс. Не один вечер ушёл на извлечение внутренних органов, пропитку тканей... Нежные, не поддающиеся бальзамированию внутренние органы складывались в целлофановые мешочки, заворачивались в газету и выбрасывались в мусорное ведро. Так, постепенно, и выносила их из дома, но вот избавляться от самих тел она не собиралась. Наоборот, если бы тела исчезли, потеряло бы смысл и само её преступление.

Когда полиция вошла в квартиру, то увидела едва ли не мирную сцену: лежащую на тахте мать, в вольной позе, и сидящих за столом сестёр. Тела были старательно размещены по своим местам, им, как восковым манекенам, придали должную позу. Убийца не избавлялась от своих близких — она получила над ними власть. Полную, беспредельную. Власть над телом. В её деянии странным образом сплелись в неразрешимый клубок те отношения, которые за много тысячелетий сложились у человечества с собственными телами, коли они мертвы.

Мёртвое тело требует избавления, освобождения пространства. Но рядом с ним на невидимой привязи мечется то, что и было человеком, что называют иногда душой, иногда проще — личностью, то, что каким-то образом соотносилось с этим телом, когда оно ещё было живым.

В древнем Египте бальзамирование было одной из самых непреложных традиций. Семьдесят дней готовили тело фараона к погребению, вымывая из него всё, что тленно, и хитроумными способами сохраняя то, что должно остаться. Существует несколько версий о причинах подобного отношения к бренной плоти. Но важнее другое — несомненная ценность тела. Бальзамирование не было надругательством, извлечение мозга и органов — кощунством. Напротив — проявлением любви и почитания. А потому бальзамировали не только людей, но и, например, священных животных — кошек. И по одну сторону Нила стоял город живых, город, выстроенный в основном из лёгких и недолговечных материалов, которые потом унесло время, а по другую сторону стоял город мёртвых, огромный, каменный, выстроенный для вечности и навечно. Египтяне предполагали жизнь после смерти. Но зачем же тогда оставлять здесь, на этой земле, напоминание о себе — тела?

В Новой Гвинее тела никто не бальзамировал. Да и не хоронил тоже. У некоторых племён принято умерших

родственников съедать. Это акт ритуальный. Подчёркивающий преемственность поколений, уберегающий от потери силы, преумножающий мощь племени. Умершие остаются со своими родственниками. Входят в их кровь и плоть. Обеспечивают вечное покровительство.

Весёлый праздник существует в Мексике: в одной из провинций ежегодно, в один и тот же день, с песнями и танцами идут все представители рода из селения на кладбище, вынимают из склепов тела умерших, приносят их во двор, в дома, там садятся за богатую праздничную трапезу, вспоминают все благие деяния покойных, говорят о делах семейных, а вечером, также с весельем и радостью, устраивают вторичное шествие — возвращают склепам их добычу.

Древние греки и римляне, а также все зороастрийцы и буддисты своих умерших сжигали. Тело не должно оставаться после смерти. Оно должно исчезнуть, освободить душу от своего присутствия. И как можно более быстрым и чистым способом. Ничто не может быть чище огня, быстрее огня. Вся иллюзия материальной жизни, страдания, болезни, вся грязь бытия сгорает в его пламени. Оставшийся пепел тоже лучше не хоронить — развеять. (Неру и Ганди завещали развеять свой пепел в трёх разных местах: в воду, на землю и в воздух.)

Иногда кремация слишком дорого стоит. Балийская беднота, не имеющая средств на подобный ритуал, своих умерших закапывает в землю. Это — духовная трагедия, ведь согласно их верованиям душа не может уйти от тела, пока оно существует. Раз в несколько лет все погребённые выкапываются и уже за счёт государства сжигаются на одном великом погребальном костре.

Но христианство и мусульманство кремацию запрещают: прах — праху, тело должно вернуться к первоначальной основе — к глине, к земле. Через долгие этапы разложения, распада, через насыщение бактерий, насекомых... (Поэтому, следуя традиции, нет в нашем горо-

де крематория, зато есть уже около тридцати закрытых кладбищ, разрытых кладбищ, на которых поставлены дома, над которыми разбиты скверы.)

Атеистический Советский Союз позволил себе крематорий и, вспомнив о богоподобности, что ли, — бальзамирование. Мумию Ленина, величайшее шоу Советской власти, нельзя сравнивать с мумиями фараонов: никто никогда не посмел бы выставить тело фараона на всеобщее бесконечное обозрение.

Стена плача в Иерусалиме нашла странного атеистического двойника в скорбной Кремлёвской стене, в которой замурован пепел особо видных деятелей Советской власти.

В христианской и мусульманской традиции есть посещение мёртвых, визит на кладбище. К умершему человеку? Или к его телу, скелету, черепу... Почитание мёртвых проявляется в разной форме. Те народы, у которых практикуется захоронение в землю, породили представление о вампирах (сейчас столь модное в кинематографе). Но вампиров нет в Японии и в Китае.

Ещё один вид захоронения — отторжение самой памяти об умерших. Братские могилы неизвестных, расстрелянных, замученных.

Под Алма-Атой, недалеко от пригородного села Дмитриевка, в конце XX века существовало ещё одно кладбище — Дмитриевский погост. Там областные власти в братских могилах хоронили людей, о которых некому позаботиться, у которых нет родственников. А ещё тела неопознанных из моргов. Хоронили в братских могилах, человек по сорок в каждой. Впрочем, вряд ли можно это назвать могилой — длинные траншеи, в которые скидывали тела, иногда присыпая тонким слоем земли, иногда — нет.

На погосте прижилась стая одичавших собак, находивших здесь пищу. А потому из глинистой почвы торчали обгрызенные конечности, а кости были рассеяны

далеко по округе. Это уже третье тысячелетие, наше с вами время.

Вечная оппозиция единения жизнь — смерть интересна как проблема теоретическая. Но в материальной нашей реальности остается нечто, от чего необходимо избавиться — тело.

В одном из тибетских монастырей покойного оставляют на открытом месте, и в три дня птицы очищают скелет от плоти, и уже только чистые кости сжигают на огне. Абсолютная утилизация, кормление мира вокруг, поддержка зыбкой его иллюзорности.

Православные монахи на Афоне закапывают тела в землю, обладающую особым, должно быть, свойством, и через два-три года выкапывают обратно белые и без следа плоти и разложения кости. Промывают их, сушат, скелет отправляют обратно в землю, а на черепе пишут имя покойного и складывают черепа на полочки в специальной комнате, в которой уже выстроились ряды черепов давно ушедших обитателей этого монастыря, каждый — с именем на лбу, словно готовые к оживлению големы.

Князю Владимиру в ознаменование крещения Всея Руси Византией был подарен череп папы Климента. В Киево-Печерской лавре и сейчас находится более сотни черепов святых мучеников, и время от времени святые останки мироточат, вызывая благоговение верующих.

Череп особо любим человеком из всех останков. Бедный Йорик — не палец и не берцовая кость, а именно череп, который, по-видимому, подсознательно более всего соединяется с представлением о личности, а также о смерти, под капюшоном которой если не чёрный провал пустоты, то чёрные провалы пустых глазниц.

В Мексике в День всех святых, в день поминовения всех умерших, сахарные черепа приносят родственники на могилы — сделанные из сахара приметы смерти едят дети.

Несколько иное назначение у куши, инкрустированных бусинами и ракушками черепов новой Гвинеи, — амулеты силы, знаки воинской доблести, покровители очага.

Постепенно тела ушедших занимают всё большую площадь земли. Есть поселения, которые практически полностью стоят на кладбищах. Только под Алма-Атой их десятки.

Тело сжигали, закапывали в землю, отдавали воздуху, привязывая к ветвям деревьев, отправляли по воде или в воду. Способы избавления не всегда были быстрыми и удобными. Иногда они занимали достаточно много времени (до нескольких лет, поэтапно — у некоторых народов, у которых тело проходило несколько стадий изменения и метаморфоз), иногда от тела пытаются избавиться стремительно, прежде чем оно остынет, прежде чем появятся первые признаки тления.

Родовитые семьи Европы зачастую обзаводились фамильными склепами, в которых на гробницах-полках стояли гробы или лежали без таковых тела предков с незапамятных времён. Семья была незыблема даже с этой послесмертной позиции.

Отношение к телу — не только отношение к памяти о человеке и не только отношение к человеку вообще. Скорее это отношение к бытию-небытию человека в этом мире или отношение человека с миром. В мире Дмитриевского погоста не существует человека как реальности или человека как сверхреального существа. В нём только полуразложившиеся трупы, кости и вечный хранитель ада — стоглавый цербер, ипостаси которого разбежались по всем просторам.

В мире бальзамированных родственников маньяка от медицины человек и есть только тело, которое попадает в нераздельную власть обезумевшего скальпеля. Если бы личность отделялась от тела в этом мире, вряд ли по-

надобилось бы столь старательно и искусно сохранять брeнное, тщательно выбирать позы, играть во всесилие.

В мирах, где тело предают огню, оно лишь иллюзия, растворившаяся в клубах дыма. В христианском мире тело грешно и пакостно, потому избавляться от него следует, возвращая в грязь, в первооснову, отделяя божественную сущность — душу. Низкое — нижнему, высокое — высшему.

Почти так же и в мусульманском мире, лишь только с той разницей, что даже мимолётное прикосновение к плотской стороне смерти — кладбищу — запрещено носительницам жизни, женщинам, которые, будучи нечисты по природе, тем не менее участвуют в процессе обратном: не распадение тела, а созидание его, не уход, а приход.

Не стройте крематории, и наш мир превратится в великое кладбище: что ни метр, то могила. Гумусная почва, культурный слой, Дмитриевский погост.

## РЕНЕССАНС ГРЯДЁТ?..

В начале 90-х годов XX века один известный казахстанский писатель, автор действительно хороших романов и повестей, а когда-то — автор первого в Казахстане художественного произведения о сталинских репрессиях, вдруг, неожиданно для всех, выпустил книгу публицистики и в частной беседе сказал мне: «Как можете вы сейчас писать и думать о современной литературе? Когда корабль тонет — музы молчат. Время художественного осмысления реальности наступит лет через сорок».

В некотором смысле эти слова выражали настроение большинства деятелей искусства. И отражали не столько крах экономический, сколько идеологический и эстетический.

«Стилевой кризис» произошёл мгновенно. Большинство художественных методов вдруг «устарели». Искусство подполья и андеграунда, оказавшись на свободе, далеко не всегда выдерживало качественную проверку и потеряло свою привлекательность. Новое время и новый устрой (или отсутствие такового) жизни требовали чего-то иного.

Необходимость национальной самоидентификации, о которой заговорили прежде всего политики и идеологи, также сказалась на ситуации некой растерянности в искусстве. Некоторые из мастеров искусств советского времени эмигрировали, некоторые навсегда замолчали,



немногие — продолжали работать, как работали, или нашли себя в новом качестве и новых стилях.

Ждать сорок лет не пришлось: в течение последнего десятилетия прошлого века в искусство пришло новое поколение, незнакомое со священным трепетом перед осмыслением настоящего.

## ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Русской культуре до 1917 года вообще было свойственно особым, весьма своеобразным способом усваивать находки западной, а позже и восточной культуры.

На полвека позже пришёл символизм, весьма задержались имажинизм и экспрессионизм... Но всякий раз русская культура не просто усваивала уже созданные где-то и кем-то художественные методы и стили, но удивительным образом их преображала в нечто, присущее только ей.

В уплотнённом времени запоздалого усвоения происходила трансформация иногда даже самых значимых для «источников» эстетических критериев (так, например, потеряла своё значение эстетика безобразного в русском символизме).

Советский период характеризовался, помимо создания заслона от проникновения западной культуры, ещё и попыткой творения некой универсальной, абсолютно верной формы, идеологически выверенного содержания и не вызывающих сомнения методов.

Уже первый прорыв в 50-х — 60-х годах позволил в одно десятилетие уместить опыт европейской культуры тридцати-сорока лет, а после 1985 года на культуру обрушился целый поток новых стилей и методов.

Одной из первых реакций стало развитие радикальных и экспериментальных видов искусства. Используя

уже отработанные приёмы, но доводя их до логического предела (а радикальное искусство, как правило, максимально логично, даже иррациональное ощущение достигается в нём посредством абсолютной логики), художники создавали свои произведения-перформансы. Если в 50-е годы Дюшан демонстрировал публике унитаз, то в 90-х бывший казахстанец Александр Бренер показывает зрителям в галерее вытащенные из штанов фекалии; если один японский художник, выражая протест регулярному загрязнению моря, создал инсталляцию издохлых рыбок, то казахстанец Канат Ибрагимов, отражая сущность общественного ханжества, рубит на куски живого петуха.

Но если в среде радикальных художников царствует логика (даже в том случае, когда она скрывается под покровом иррационального), то совершенно иные процессы зарождаются в казахстанском кино «новой волны». Происходит попытка создания философского направления в киноискусстве. Многие фильмы в принципе не были рассчитаны на большую зрительскую аудиторию. Погружение в субъективный мир, создание с помощью приёмов иногда документальной съёмки, иногда виртуозной операторской работы с новыми технологиями (минимализм или излишество) визуального воплощения новой реальности. Конечно, в некоторых случаях успеху этих картин способствовала «национальная экзотика». Но основной всё же стала попытка, весьма успешная, нового взгляда на мир, который тоже словно был только что создан, в аллегорическом смысле в казахстанской реальности это так и есть.

Бум радикального искусства в культуре пошёл на убыль, всё чаще говорят о зарождении новых стилей в современном искусстве, и во многом это было предопределено:

— наличием хорошего базового академического образования у деятелей культуры (замечательная казах-

станская школа живописи подготовила немало художников, а большинство режиссёров «новой волны» учились в Москве);

— особой восприимчивостью казахстанской культуры к другим национальным культурам (сказалось геополитическое расположение и многовековое смешение различных народов);

— постепенной стабилизацией экономического положения.

Литературой Казахстана не свойственные ранее художественные методы также были в течение пяти — семи лет освоены и в совершенно уже ином виде использованы в произведениях, находящих оригинальное стилевое решение.

Сейчас ещё рано говорить, что в казахстанской литературе есть приоритетные направления. Возможно, они появятся через несколько лет, возможно, уже есть произведения, на которые будут ориентироваться.

Этап усвоения завершён, быстротечные «детские болезни» различными «запретными» направлениями XX века тоже закончились, наступило время созиданий.

## КУЛЬТУРА ОДИН

Во время существования Советского Союза можно было говорить о наличии двух культур. Культура Один и Культура Два — то, что истинно, и то, что официально и идеологично (термин В. Паперного). Первая скрыта, вторая — на виду. Первая остаётся и передаётся, вторая, как пена на воде, всегда бросается в глаза, всегда исчезает бесследно.

У некоторых народов и стран есть тотальное предназначение рассеивать одарёнейших своих людей по другим государствам, раздаривать... Сколько казахстанских

музыкантов лишь изредка выступают на отечественной сцене; сколько танцовщиц и танцоров, певиц и певцов включены в труппы зарубежных театров; сколько литераторов предпочитают творить на иных географических широтах. Народ не оскудевает, но становится ли богаче?

Наиболее интересные явления в казахстанской культуре в последнее десятилетие, на мой взгляд, происходят в литературе, кино и живописи. Особо яркие исполнители в балете и музыке живут в основном на «два дома». Это — производство на экспорт.

Фильмы кинорежиссёров «новой волны» тоже сначала видят зарубежные звёзды, но благодаря телеканалу «Хабар» в последнее время они стали известны и казахстанцам. Кино, как и литература, — один из наиболее привязанных к «почве» видов искусства, они всегда стремятся вернуться к своему народу.

В Казахстане появилось немало художников, которые своим творчеством уже сделали изобразительное искусство страны известным во всём мире. Маданов и Демидов, Сыдыханов и Люйко, Бапишев и Айтбаев, Рахманов, Есдаулетов и Менлибаева — явление уже далеко не только казахстанской культуры.

В литературе тоже появились новые имена. Питаясь от нескольких национальных культур (и, возможно, в силу этого обладая повышенной мифологичностью), казахстанская литература находит свои собственные стилистические решения. Ещё нельзя говорить о каких-то превалирующих тенденциях, но тем не менее уже есть имена, которые можно назвать явлением. Например, победители первого этапа конкурса Фонда «Сорос — Казахстан» «Современный казахстанский роман» Николай Верёвочкин и выпускник «Мастер-класса» Общественного фонда «Мусaget» Илья Одегов, писатели Аслан Жаксылыков, Вадим Гордеев, Аня Рогожникова, Тимур Исалиев, Иван Глаголев, поэты Тути, Евгений Барабанщиков, Марат Исенов, Ербол Жумагулов, Ерлан Аскарбеков — всех трудно упомянуть в рамках небольшой статьи.

Казахстанская культура на пороге расцвета или упадка — всё зависит от малого: сможем ли мы удержать и поддержать то богатство, которое благодаря работе тысяч одержимых творчеством людей нам досталось.

## ГОРОД

Горы примыкали к городу, были видны из города, и всё пространство своей жизни люди привыкли делить на верх и низ: вверх — к горам, вниз — от гор. Как всякая высота, горы магнитом притягивали к себе тысячи горожан, которые в выходные дни обратной лавиной устремлялись из города и терпеливо взбирались по наклонной плоскости — вверх.

Горы были местной романтикой: костры и песни, спальные мешки и рюкзаки, кручи и обвалы, неверные камни под ногами, быстрые речки, спрятанные в ущельях водопады казались далёкими и недосыгаемыми для дымных и шумных городских улиц. В горах словно по всему земному шару путешествуешь: сделал шаг — и из лета попал в осень, время поспевания ягод, ещё шаг — весна, неожиданное цветение кустов, чуть дальше — и куда делась зелень: толстой, никогда не тающей подушкой лежит снег, долгие километры приходится идти на лыжах, проваливаясь иногда в коварные снеговые ямы (а на спине рюкзак со спрятанными до времени кедами). Прощёл — и оказался в земле обетованной, сказочной маковой долине, давно уже ставшей легендой местных альпинистов. В ней всегда весна и сплошное, до ломоты глаз алое цветение, добраться до неё можно, лишь миновав снежные отроги. За нею — снова снега, и, если есть ещё силы управлять отяжелевшими от почти вертикальной

дороги ногами, можно идти дальше, до песка, волшебной водицы, синего неба Иссык-Куля.

Горы всегда были и местом добычи: малина, боярышник, шиповник, барбарис, ежевика, облепиха ведрами сносились с ущелий и склонов; горожане-муравьи, сгибаясь под тяжестью непомерных рюкзаков со вставленными в них коробками, приносили домой абрикосы и яблоки, сливы и груши, грецкий орех и фундук — горы могли прокормить трудолюбивого сборщика.

Горожане, веря прогрессу, всё чаще отправлялись в горы на автомобилях, мечтая о лазающих по кручам колёсах, останавливались на наклонных дорогах, устраивали пикники у обочины и с тоскою смотрели вверх, на манящие вершины. Но пешие путешественники даже в выходной день в недолгом походе стремились оказаться как можно дальше от блох города — автомобилей, и им приходилось забираться всё выше и выше, туда, где исчезал туманный лик столицы, где не было шума и стояла странная, пронизанная звуками тишина, отвечающая долгим эхом на каждый во сто крат усиливаемый ею крик.

\*\*\*

Тастак был самым опасным и потому притягательным районом города. В десятых годах нашего столетия переселенцы из южных губерний России выстроили здесь свою станицу Кучегуры — каменистая земля, по-казахски «Тастак». Земля здесь действительно была каменистой, как и во всём расположенном рядом Верном. Копнёшь лопатой — и сантиметров через двадцать натыкаешься на сплошной покров из валунов: от небольших до гигантских, таких, что и выворотить невозможно, хоть сразу дом на нём ставь как на основе. Каменный этот слой

создавался долго и был не просто свойством здешней земли — его создали многочисленные сели, кусками сносившие в долину плоть гор. Переселенцев это не испугало, земля была поделена на большие квадраты, и вскоре поднялись добротные, из еловых бревён, дома с просторными подворьями. Выросли фруктовые сады, по утрам петухи будили своим громким пением, в подворьях множилась скотина, на окраинах появились выпасы. По выходным станичников собирала небольшая церковь «Всех скорбящих радости». Многочисленные яркие и шумные базары, специализирующиеся по виду продаваемых продуктов, — яблоневые и арбузные, мясные и фруктовые, — зазывали покупателей, как правило, берущих помногу, про запас. Станица стала обжитым, устроенным местом, со своим бытом, своими бедами и радостями.

После революции станицу переименовали в Ленинскую, а волость, к которой она относилась, стала называться Ульяновской. Столь явная тавтология долго никого не смущала. Позже станица стала совхозом, протянувшимся по всему юго-западному боку города, с полями и яблоневыми садами, с лугами, на которых горожане собирали грибы да ставили ловушки на фазанов и куропадок. В 1957 году Тастак присоединили к Алма-Ате, он стал частью города, стремительно растущего и требующего всё новые и новые площади. Сыновья и дочери, внуки и правнуки первых поселенцев давно уже создали собственные семьи, жилья не хватало, в просторных дворах по-быстрому да бедно строились, тесня пространство, новые домики, уже саманные, возводились дощатые заборчики, затем ещё и ещё, пока не оставалось места не только на уже запрещённую когда-то живность, но и на хозяйство вообще. По углам кварталов оказались теперь добротные дома первых переселенцев.

Тастак стал огромным, но тесным, скованным, сжатым и зажатым селом внутри города. Окружённый со



всех сторон широкими магистральными улицами, он жил своей тайной жизнью: с пением петухов и глухим мычанием коров по утрам, детьми, бегающими по пыльным улицам между домами с щенком или котёнком в руках, неприбранными женщинами в стоптанных тапках, идущими с ведрами за водою к колонке, с драками «улица на улицу», сменившимися затем разборками подростковых банд.

Заборы подвигались всё ближе к асфальту улиц, захватывая широкие когда-то тротуары.

Уродливые, протянутые в воздухе газовые трубы воплотили фантазии художников-урбанистов в пародийном одноэтажном пейзаже.

Размножившиеся автомобили сделали шумными и грязными тихие когда-то улицы.

Но сменилась ещё одна микро-эпоха в жизни то ли человека, то ли человечества, то ли просто на полградуса стало теплее — и резко изменилось что-то в воздухе.

У каждого пятого дома закрылись наглухо ставни, травю сорной заросли дворы, а на воротах появилась надпись: «Продаётся». Некоторые из таких домов, простояв год или два, лишились вдруг в одночасье оконных рам и дверных косяков, выданных не слишком таящимися мародёрами. Другие же тихо ветшали, забытые уже напрочь, наверное, своими владельцами.

А рядом происходило куда более явное превращение, словно был объявлен массовый призыв, общегородская стройка: у каждого второго дома высились кучи гравия и глины, песка и щебня, новые двух- трёх- и четырёхэтажные дома возводились впритык к старым либо по новоизобретённому методу строились поверх, поглощая древний домишко в своё нутро как одну из внутренних комнат; иногда саманные дома спешно сносили, освобождая место для карикатурного подобия виллы. Тастак менял облик, а потому ещё не имел никакого.

\*\*\*

Странное мистическое родство соединило два эти города.

Петербург был построен в малопригодном для человека месте — вокруг болота да немощная земля, расчерченная излучинами рек.

Петербург возводили по воле царя — на костях строителей, заселяли переселенцами.

Грозное пророчество опальной царицы «Быть сему месту пусту» оказалось почти верным: несколько раз взбунтовавшаяся стихия (вода и камень) пыталась снести город, смыть его с земли, сравнять с кочковатой поверхностью. Но город стоял как крепость — форт Петра I, охраняющий рубеж государства; город рос, строился по непривычным в тех местах европейским образцам: прямые линии пересекающихся улиц вместо принятых в России центробежных круговых; город вбирал в себя всё лучшее: людей, идеи, произведения искусства и достижения науки; город теснил старую столицу, провозгласив себя новой.

Через много лет в другом малопригодном для жилья людей месте — в долине между степью и горами — другой царь основал свой форт как оплот государственности на рубежах империи. И заселил его — переселенцами. Военные и строители, мещане и врачи, казаки и безземельные крестьяне съезжались в междугорье, чтобы создавать свой город по немыслимому до того в этих местах проекту: прямые просторные улицы должны были разделить всё пространство на квадраты и прямоугольники. Так был построен и Санкт-Петербург, новому форту предстояло стать его отражением.

Молодому городу угрожала стихия, вечно висела над ним опасность быть сметённым, уничтоженным селевыми потоками, время от времени грозно сотрясались горы, и

кликушествовали испуганные предсказатели: быть сему месту потопленному разъярёнными селевыми потоками, погребённому под каменной плотью горы. И в ответ на эти слова несколько раз, в 1887, 1910 (1911) и 1921 годах, город сметала грозная стихия.

Кости легли в основание домов города, позже — многочисленные кладбища, захваченные его непрерывно расширяющимися границами, будут невидимой опорой фундаментам.

Люди не верили грозным пророчествам и с маниакальным упорством вновь отстраивали свой город, садили сады, возводили дома, рожали детей и принимали всё новых и новых переселенцев.

Сначала влекло сюда тех, кто не был доволен судьбой своей в родных местах, кто готов был на новом месте и новой земле трудом своим добиться лучшей доли. Ехали деятельные, авантюрные, умелые.

Несколько волн подобных переселений узнает город. Три из них — уже в XX веке. Сначала, в 30-е годы, убегая от лагерей и расстрелов, поедет в Алма-Ату лучшая российская интеллигенция и самая трудолюбивая часть крестьянства, меченая за труд свой с утра до ночи смертельным прозвищем «кулачество».

Во время Великой Отечественной тысячи эвакуированных будут спасать город, в основном творческую интеллигенцию и высококвалифицированных рабочих военных заводов. Многие из них останутся в нём, у многих появятся на чужой земле ученики, школы, направления... И сколько из них — ленинградцы, и сколько слов — Ленинграду...

И ещё одно переселение настигнет город в 50-е — 60-е годы, когда последние потенциальные лагерники на новой волне репрессий устремятся в Алма-Ату, сюда же поедут дети «врагов народа», мечтающие получить образование (по неизвестной причине в алма-атинских вузах и техникумах был менее строгий «контроль»).

И сколько целинников, устав от жгуче-морозной пустынной степи, осядут в городе ещё одной неясственной волной.

Сменить имя — сменить сущность. Град Петра трижды менял имя и сущность, а заодно и статус свой, пока не вернулся к исконному имени, крестильному, пока не обрёл снова покровителя своего и защитника, соединяющего небесную и земную ипостась города.

Трижды менял своё имя, а заодно и грамматический пол свой Верный, всякий раз преображаясь изнутри и грозя новой метаморфозой. Легко и естественно город стал столицей, и легко перестал ею быть. Как и любое зеркальное отражение, на севере северная столица уступила место южной, на юге — южная потеснилась перед северной.

Разный возраст у двух городов и разный облик, иная география и иные страны. И лишь тонкая нить колеблется между ними, передавая по волне своей напоминание о странной связи и странном соответствии всего — всему в этом странном мире.

## ПИСЬМО. НЕВЫНОСИМОСТЬ

Томик Милана Кундеры, цвета зелёного яблока, тяжёлый, в гладкой глянцевой обложке, я нашла после долгого перебирания книг, не слишком аккуратно выложенных на длинный стол для распродажи на книжной ярмарке. Каждый раз, когда большие или малые, значимые или ничтожные события происходят в моей жизни, я внутренне теряюсь, не зная, где истинные причины и следствия, ради чего это происходит и как происходит. Сложно понять, нужна ли была выставка для того, чтобы мне попал в руки томик Милана Кундеры, или томик Милана Кундеры нужен был, чтобы я участвовала в этой выставке, или ни то, ни другое не имеет значения, но тем не менее всё произошло так, как произошло, и вечером первого выставочного дня, устав от шума и бестолковой суеты, я уже читала Кундеру (СПб «Азбука-классика», 2002 — 384 с.)

Славянская традиция — на некоей идее строить произведение. Ещё Достоевский обнаружил, что сюжет не создаёт роман и сюжет не создаёт жизнь. Некая идея плетёт узор судьбы. Страсть идеи, накал погибающей в муках сомнений мысли вёл персонажей Достоевского и самого писателя по страницам его книг. Это не был идеализм Платона, и никакие симулякры не путешествовали бледными призраками по страницам книг. И воля Шопен-

гауэра ещё не определяла структуру мира и жизни, потому что воля прежде всего отрицает сомнение — она прямолинейна, почти плоска. Но идея, дерзающая идея, в которой всегда есть вызов, почти покушение на Божественное, и нестерпимая мука, и одержимость, и толка неуверенности, — такая идея может и должна стать историей судьбы и книги.

Милан Кундера уже в поэтически красивое название помещает одно из ключевых слов своей идеи, мятежной, противостоящей традиционному укладу. «Невыносимая лёгкость бытия» и тяжесть зеленоватого тома книги. Кошунственное предположение: если жизнь наша свершается единожды, если по окончании её за всем предстоящим, но от этого не менее таинственным порогом — вечность, то перед этой вечностью все наши поступки, наши решения ничего не весят, ибо они прощены, прощены заранее, как ничтожное перед великим, как тленное перед нетленным, как время перед безвременьем. И тогда бытие наше становится невыносимо легко, жизнь прозрачна, как краткое сновидение, в котором многое возможно, но за поступки в котором мы не несём вины. Но если предстоит повторение, если всё свершённое нами попадает в бесконечный круг возвращения, если происходящее становится моделью грядущих поворотов сюжета, тогда давит невыносимая тяжесть ответственности, тогда уже не лёгкость вечности, но горы могильных холмов, мир на плечах тяготят каждого из нас. Попадая в круг постоянных повторений, наше решение становится непреложным, и тогда мы в ответе, и тогда возможен груз вины, и тогда не всем дано прощение.

Нарочито поместив книгу в привычную и удобную систему оппозиций: земля — небо, плохое — хорошее, верх — низ, лёгкость — тяжесть, время — вечность, — Кундера ввел её в круг постоянных повторений, придавил тяжестью аллюзий, бумаги, твёрдой зелёной обложки. И, словно стремясь изнутри разрушить, разорвать зам-

кнутое движение, перекроил линейный ход сюжета, многое объяснив заранее. Псевдопсихологизм, объяснение поступков героев, их снов — иногда с почти фрейдистским толкованием, их решений или отказа от таковых в действительности оборачивается не анализом психики, а анализом идеи, которая может ещё существовать в этом мире.

В некотором смысле «Невыносимая лёгкость бытия» — попытка возврата романа к идее и человеку, в отличие от стремления к игре с медиаполем, игре проектов, когда, собственно, человек исчезает из текста, когда идея человека, рискнувшего бросить вызов, становится уже не важна: может ли существовать благая или безумная идея там, где мир превратился в набор знаков, большинство из которых призвано для охорашивания (и не более того) бытия?

Психологическая проза сыграла злую шутку с литературой. Казалось бы, именно с появлением психологического романа душа человека стала центром повествования, сюжет отступил, даже занимательность сдала позиции, и непреходящий призыв к следованию нравственным ценностям вдруг оказался не столь важен, ибо психика человека, осторожно, постепенно приоткрывая глубинные пласты свои, вдруг обнаружила поразительное расхождение с привычными понятиями о нравственности. Человек в психологическом романе снова центр мироздания, в котором он оказывается под микроскопом — пусть даже автора, — и малейшие нюансы, определяющие его поступки, становятся объектом почти анатомического исследования.

Психологический роман стал возможен благодаря всё растущей вере в прогресс и науку. У Льва Толстого человек — едва ли не хорошо отлаженный механизм, хотя, возможно, иногда не совсем хорошо, но причины и следствия тех или иных чувств, поступков ясны всегда. Человек невероятно сложен, но объясним.

Конечно, Толстой создал иллюзию великую по сравнению с механизмами Фрейда, схемами и чертежами бес-сознательного. Но Федор Михайлович, с его пристальным вглядыванием в душу человеческую, с его абсолютной убеждённостью в непознаваемость — ибо божественно! — этой души, с его надрывом, естественным перед бездной, в которую не только заглянуть рискнул, но и пасть, уже не обольщался. Его тексты двигала идея — идея, которая мучила его и, по наследному праву, его персонажей.

Проза Кундеры — проза XX века. Его персонажи не слишком отягощены идеей, которая разворачивает страницы романа, которая, быть может, и заставляет автора создать роман. Его персонажи иногда об идее этой и не догадываются, иногда прозревают её в отдельных поворотах своей судьбы, как мы порою прозреваем вдруг сюжет своей жизни в мелких случайностях или больших событиях, происходящих с нами.

До XX века автор чувствовал ответственность — или иллюзию таковой — перед читателем и перед своими персонажами. Возможно, иногда это была равная степень ответственности. Трепет перед собственным текстом, подобный трепету иконописца, который только после благословения, поста и молитвы может приступить к работе, в XX веке исчезает. Писатель не со-творец, а теург, писатель — титан, заглянувший в бездну. На правах вседозволенности мятежной души он может позволить себе (ибо не тварь дрожащая) создавать мир, сообразуясь лишь с собственным видением этого мира, собственной идеей.

Теургические игры начала XX века — истоки постмодернизма, который превратил мир в игру-мозаику, собирание паззла: иногда важно лишь угадать логическое место фрагмента в картинке, чтобы увидеть саму картинку, а иногда — картинки нет, важнее пестрота стыкующихся друг с другом фрагментов.



Автор-теург — ребёнок, играющий с миром, и демон, бросающий вызов истинному творцу.

«Невыносимая лёгкость бытия» — мучительная попытка возврата текста к человеку, попытка, конечно, не лишенная игрового начала и той же мозаичной системы. Невыносимая лёгкость и тяжёлый, одетый в картон и бумвинил томик книги.

Попадая в бесконечный круговорот дуалистических представлений о мире, мучительных идей о вечности, времени, о Боге или отсутствии Его, книга с каждой строкой становится тяжелее и тяжелее. И тогда, подняв глаза от сложившейся вдруг мозаики, чувствуешь тяжесть, земляную тяжесть, противостоящую лёгкости того, что должно исчезнуть в вечности. Кундера создает книгу-гирию, книгу-решение, книгу-выбор, которая своим бытием подтверждает и полную бессмысленность, и абсолютное право на существование идеи и литературы.

В некотором ознобе после прочтения я думала, что более всего многие авторы, берущиеся за ручку, боятся тяжести. Спасительная лёгкость, упоительная лёгкость, восхитительная лёгкость ведёт перо. И где-то в этой лёгкости тает идея как нечто ненужное, да и впрямь, быть может, ненужное, исчезает вызов и Тот, кому можно его сделать.

Невыносимая лёгкость для Кундеры очень близка к идее Бога, непомерная тяжесть очень близка к атеизму не потому, что разное отношение к времени и вечности, к бытию вообще как-то связано с Божественным, нет. Атеизм, основанный на чрезмерной тяжести, на выборе, которому должно повторяться, иной своей гранью оказывается близок отшельничеству, необходимости отрешения от соблазнов этого мира, соблазнов лёгкости и добровольного взваливания на себя тяжести всего бытия. А упоительная лёгкость, почти что святость, данная благодать судьбы и характера, словно награда, позволяет

избежать соблазна идеи и подвига душевного, не ведает греха, которого не может быть там, где всё прощено.

...Вижу привычный ритуал: в светлом упоении автор передаёт издателю листы с написанными на них новыми текстами. Чувствую, как прогибаются эти листочки от тяжести или чуть ли не взлетают от лёгкости, которыми заряжены слова и фразы. И многим хочется обмануть судьбу, которую так опрометчиво, по незнанию, безрассудству или служению они вдруг себе напрозорчили. Разбегаются дорожки, манят повороты: легко — тяжело, лёгкость — тяжесть. Кундера не избежал соблазна, использовав нарочито обозначенную идею, у которой к тому же и чёткая схема. Но выбор между лёгкостью и тяжестью не так прост. Как, впрочем, не прост и выбор между отшельничеством и святостью.

Среди сотен текстов всё чаще встречаю произведения, в которых автор, привычно взяв в руку лупу с толстым увеличительным стеклом, рассматривает человеческую душу, скрупулёзно отмечая те или иные её движения, или, напротив, отрешившись от человека, складывает орнамент из разноцветных понятий, строит песочный замок до первого прилива. Всё реже вижу тексты, в которых некая идея, сжигающая страсть движет душою не только персонажа, но и его создателя.

Потребовалось несколько столетий, чтобы фраза «Весь мир — театр» вошла в кровь и плоть, чтобы игровое начало превратилось в основное начало, чтобы люди стали играть в игры, только играть, меняя маски в ожидании аплодисментов или гнилых помидоров.

«Выхожу один я на дорогу...» — тут нужна идея, здесь нужно рискнуть спокойствием души или ею самою. На дорогу теперь обычно выходят толпой, потому что в толпе легче распределить роли и установить правила игры, которые (уже по другому правилу) так приятно нарушать.

Литературный текст любит правила, литературный текст без них невозможен, но возможен без идеи, без стремления заглянуть чуть дальше сконцентрированной всегда на единой точке лупы, оторвать голову от стекла, посмотреть на небо и звёзды, туда, где меняется тон разговора и исчезает необходимость игры.

Невыносимая лёгкость фантомного текста — тяжесть идеи, покушающейся на вечность. Роман Милана Кундеры — политизированный, привязанный к реалиям недавнего прошлого, легко и узнаваемо принят самыми различными группами людей, и, если бы не изящная форма, изысканность стиля, можно было бы говорить о романе почти публицистическом.

Кара или прощение ждут подобные тексты и их авторов? Литература — изящная поделка, лёгкая игрушка, которой дано всё, чтобы заслужить прощение, неумолимо стремится к тяжести, оседанию, к повторению самой себя, к сжигающей страсти.

Сфинкс, вопрошающая и не получающая правильного ответа. Вереницей идут мимо неё эдипы, заученно, монотонно повторяя: «Человек, человек, человек...» И сфинкс привычно бросается в воду, тонет, но невидимый её двойник уже находится на прежнем месте, словно и не уходила никуда, словно не было зазора, секундной паузы между исчезновением и появлением. Эдипы не замечают подмены, они продолжают путь в слепой уверенности, что ответ найден, что всё решено, что нет более вопросов, после которых не наступает дурманящая лёгкость всё объясняющих ответов.

## КОЛЬЦА ВРЕМЕНИ

Осознание пола всегда приходит как осознание чужого пола. «Это дядя, а это — тётя, это мальчик, а это — старушка. Ой, смотри, какая лялечка!»

Но главное — родители: мама и папа, два совершенно разных мира, разница которых ощущается в их побудительных по отношению к тебе действиях и в возможности их использования. Накормит, успокоит, подкинет вверх, наругает, научит копать лопаткой...

В этом мире нет пола собственного, но о его существовании все напоминают, словно боятся, что привязка, клеймо принадлежности не пристанет. «Разве девочки себя так ведут? Поправь юбку». — «Ты что, перестань, ты же мальчик, а мальчики не плачут».

Понятно и непонятно. Взросление — процесс усвоения ограничений. Половые — одни из многих.

Проще с физиологией. Различие между людьми замечается сразу. Этот толстый, а тот низенький, у этого — борода, а у той — длинные волосы, те выглядят так, а эти — этак. От родителей — к ровесникам, уже откровенному подглядыванию и разглядыванию, и к своему собственному телу, которое, надо же, оказывается таким, каково оно есть. Осматривание себя, запоминание, чтобы не перепутать. Знакомимся с собственной телесностью, как с неведомым подарком из коробочки. Сравниваем с другими. Два одинаково неприятных открытия: собствен-

ная уникальность явно скрывает некие непонятные функции, собственная уникальность оказывается присущей и другим людям.

Детские разглядывания друг друга (мы с сестрой, мы с соседским мальчиком и мы — целой группкой во дворе) — не просто ознакомление и даже не осознание собственного пола, а соединение себя с другими. Мы, отдельная каста — дети, оказались кем-то поделены на две группы, поделены, возможно, навсегда. А собственная уникальность стала растворяться в групповой половой принадлежности.

И вопросы, вопросы... Почему надо играть в куклы, если конструктор интересней, а с автоматом легче защититься от хулиганов из соседнего двора? Почему нужно переодевать кукол, если бросать асыки веселее? Почему ему можно синяк под глазом, а мне — неприлично?

Странно, но опыт влюблённости и любви воспринимался не как опыт вживания в свой пол, а как опыт ролевого поведения (внешне) и познания собственных чувств и чувственности (внутренне), возможностей собственной души. «Я тебя люблю» — записка, полученная в первом классе, и мучительные сомнения: кто автор? Ответ был отправлен, оказалось, не тому. И три года хождения за ручку, совместного обирания соседского сада, перешёптывания, переглядывания, создание особого, отгороженного от других мира, школа чувственных касаний, удивительная эйфория от причастности к другому, взаимной зависимости.

«Тебя любит мой брат» — новая записка и новая влюблённость. Отношения, столь зависимые от половой принадлежности, становятся уже далеко не только миром двоих, в который лишь иногда вторгаются чужие («Тили-тили тесто, жених и невеста!»), но миром взаимоотношений многих. Влюблённости и любви сменяют одна другую, непонятно, кто интересней: тот, кого любишь, или сам, когда любишь. Половые роли навязаны и

определены. Однако... «Будь я парнем, я бы ни за что не влюбилась в такую. Что он в ней нашёл?»

Гендерная роль не угнетала, даже забавляла, пока всё решалось на уровне я и он, мы и они, пока...

«Мне нужно серьёзно с вами поговорить, — почитаемый мною за лучшего из казахстанских писателей отодвинул рукопись моего рассказа на край стола. — Это всё замечательно, но никуда не годится. Почему ваш персонаж — мужчина? Вы женщина, вы не можете почувствовать, что и как ощущает и думает мужчина. Вы не должны вторгаться в неведомую вам сферу».

Я была ошеломлена. Моё творчество оценивалось с самой неожиданной стороны, мой физиологический пол оказался преградой между мной и текстом. Я ещё не понимала, что вступила в череду постоянных упрёков.

«У вас мужской ум — это ненормально», — курсовая работа летела ко мне обратно, и блистательный преподаватель филфака, кумир нескольких поколений студентов, этим ограничивал свои комментарии.

«В вашей статье мужская логика — это противоестественно. Переделайте», — редактор уважаемого журнала возвращал мою работу.

«Тематика какая-то странная... неженская», — почтенный литературовед морщился и отказывался писать рецензию на мою повесть.

Нужно было разобраться и определить более тонкие, куда менее очевидные, чем внешность и социальное поведение, сексуальные отношения и семейное соподчинение, гендерные различия. «Женская логика», «мужской ум», «женские темы», а на горизонте угрожающе нависала ещё и «женская проза». Тогда я от проблемы бежала, скрылась, растворилась в новом имидже. Иначе — переоделась, сменила пол.

Обрезание произошло почти безболезненно — усеечение фамилии и истребление имени. На всякий случай новоявленный автор, коему пристало обладать всеми

мужскими достоинствами, был наделён усами, небольшой бородкой и немедленно переселён учительствовать в Капчагай. Верная алма-атинская подруга всего лишь передавала рукописи.

«Блистательно! Признаться, я даже написал подражание», — слава филфака, легендарный преподаватель теории смущённо улыбался. Потом, через несколько лет, узнав правду, он перестал со мной разговаривать и хранит молчание до сих пор. Возможно, этот гендерный обман оказался слишком большим оскорблением.

«Ваш знакомый не хочет стать нашим сотрудником?» — спросили в редакции журнала.

«Вы знаете, что ваш друг гений? Учитесь, — почтенный литературовед ласково поглаживал рукопись, игриво улыбался. — Трудно, наверное, быть подружкой гения?»

Да, быть подружкой моего гения трудно.

Смена пола приносила дивиденды. Были тем не менее и серьёзные проблемы. Автор стал невидимкой. Приобретая правильный пол, он почти классически умер.

И ещё одно неприятное открытие: гендерный обман обижает — мужчины были оскорблены, потому что приняли за своего, женщины — потому что предали их корпоративные интересы.

\*\*\*

...Её кожа была подобна лепестку лилии через час после рассвета, прикосновение к ней вызывало странную слабость в членах, чувство давней причастности, удивительной родственности. Он боялся коснуться целой ладонью, лишь кончиками пальцев проводил по плечу, спускался до локтя, запястья, которое непременно обхватывал кольцом из большого и указательного, каждый раз

удивляясь гибкой тонкости, и дальше, — по очереди, по каждому её пальчику до округлого обреза ногтя, сквозь который просвечивала розовая бессмертная плоть.

«Ты пришёл позже, позже, позже на целую вечность, на полчаса. Ты заставил меня страдать, потому что я не могу ждать так долго, не могу отделиться от тебя и на секунду. Я должна чувствовать тебя, ощущать тебя», — её привычный лепет казался ему громче, чем шум леса и шум реки, довольно быстрой, волны которой, по слухам, впадали даже не в море, а уходили вниз, в царство мёртвых, где их грели уже лучи чёрного солнца.

Он губами касался её груди, языком запоминая рельеф соска, и думал о тех бесплотных, которые там, куда всех уносит река, которые лишены воспоминаний о собственном теле, о поте и судороге, о невесомости мышц и тяжести дня; и думал о собственном теле, которого нет, должно быть, да и быть не может; и думал о матери, чьё великое тело, бесконечное тело порождало столь многих, чтобы могли они языками своими пробовать на вкус и запах и томную сладость, и изменение форм, чтобы населять этот мир под лучами красного солнца; и думал об отце своём, шутнике великом, так легко оставляющем намёки и знаки, скрытые указатели дорог правых и неправых, ведущих к цели и уводящих от неё, дарующих успех и навлекающих неудачи; и думал о том, что даже лишённым времени приходится расставаться, отрывать друг от друга, теряя возможность вновь и вновь телами своими касаться друг друга, ибо общая участь дана смертным тварям и богам — одиночество и обособленность, которое лишь на мгновение обмануть можно лёгкими прикосновениями к чужому соску...

Она подалась вперёд и вверх, с радостной готовностью раскрываясь ему, чтобы обмануть на мгновение лукавую вечность, чтобы обхитрить неизбежность, в которой невозможно вновь и вновь телами своими касаться



друг друга, испытывая при этом лишь радость, лишь восторг, лишь нежность, на дне которой пряталась ярость.

Он обхватывал-захватывал её тело, вращал в неё своей плотью, собирая воспоминания о ней прежде, нежели должно ей было исчезнуть. Ладонь привыкала к её коже, которой никогда не увянуть. Глаза навсегда принимали в себя её образ, которому, в отличие от тех, кто уходит по этой реке, не грозило время.

Она обретала плоть и плотность в его ладонях, он же чувствовал, как из той, что обладает формой, она становится, ещё за мгновение до неопровержимого их отрыва, разрыва друг от друга, воспоминанием, осевшим на дно, воспоминанием о том, из чего состояла она, должно быть, в те мгновения, когда всего лишь минуты они прорастали друг в друга... Он думал, что только сейчас, когда она обрела свои формы и он приобрёл свои формы, ему не страшен неизбежный отрыв друг от друга... Он думал, что глаза её зелены, а ресницы рыжи на солнце, хотя кто знает, каковы они на самом деле, ибо лишь в воспоминаниях её глаза будут зелены, а ресницы рыжи на солнце до тех пор, пока прихоть памяти или желания придаст ей иную форму, окрасит её радужку в цвет иной: коричневый или чёрный, голубой, серый, болотный с точками желтизны, как блеск луны в застоявшейся луже... Он уже забывал её рост, грудь её, руки и ноги — то казалась она ему высокой и тонкой, то приземистой и пышногрудой; он хотел захватить её всю, чтобы в воспоминаниях любоваться бесконечно, изменяя то, что досталось ему целиком... И он думал о том, что не знает, отдаёт ли себя ей или захватывает её, поглотила она его или он её выпил...

Спиной, бёдрами, ногами она, зная прочность и надёжность водной стихии, опиралась на волны реки, уносящей всё туда, где навеки заключены лишённые воспоминаний. И всё дальше и дальше увлекала его к середине потока, уже ведая, как слиты надежда и ярость,

гнев и кротость, мгновение и вечность... И смотрела она мимо плеча его то в воду, то в небо, везде видя лицо его матери, той, для которой послушно в кольца складывается время. «Я потеряю его, как только он станет моим, — шептала она, — ибо так ты решила закончить битву... Я потеряю его, чтобы навеки ты улыбалась из воды и неба...» И боль опускалась из сердца ниже, к чреву, и боль поднималась из чрева выше, к сердцу; и в полётах птиц она видела знаки, и в мелькании рыб она читала скрытый смысл. И волны реки становились волнами её лона, и с выдохом выходила душа её, и со вздохом она поглощала душу его, и время споткнулось, чтобы она, хитрее всех хитрых, быстрее мыслетворящих, прожорливее сидящих под землёй, возжелала так, как может возжелать только та, для которой невозможно больше лишь помнить о его теле, ароматом миндаля пропитанной коже, тёмных глазах и упругих волосах, о том, кто, ещё не оставшись, уже уходил, унося навеки её образ, её неподвластную старению кожу, её вечность, чтобы навсегда оторваться, оставить одну там, где нет уже вечности, только время сожаления, от которого быстро сохнет, сжимается тело, выцветают глаза, обвисает кожа и становятся дряблыми мысли, потому что её время не свёрнуто кольцами, как у всё породившей, потому что лишь он в своих воспоминаниях сможет теперь менять цвет её глаз и линию её рук, придавать ей любую форму... И она возжелала так, что воды и небо слились на мгновение для сотворения или рождения...

И она возжелала так, что намёки и знаки для неё стали текстом настолько понятным, что она засмеялась...

...Он рванулся прочь руками, локтями, он рванулся прочь бёдрами, коленями, всем телом своим, зная, что даже лишённым времени приходится расставаться, он рванулся прочь, пытаясь сохранить свою обособленность, данную ему матерью, чьё великое тело, бесконечное тело, порождая столь многих, дарило каждому

право на одиночество, и его отцом, великим шутником, расставляющим указания на путях и тропинках, все — ведущие в пропасть, в реку, которая всех примиряет...

...Он рванулся прочь, но так врос уже в её чрево и в зелёные глаза с ресницами, рыжими на солнце, в руки с тонкими запястьями и в гибкие ноги, что не смог оторваться, обретая возможность вновь и вновь телами касаться друг друга...

Ей так радостно было терять обособленность, ей так радостно было отказаться от тщетных попыток обмануть эту вечную жажду продолжать себя вновь и вновь для того лишь, чтоб всё уносила река... Она думала о том, который был изначален и не знал одиночества, пока вдруг не решил проглотить своё семя, и думала о вечности, в которой ещё не было времени и ничто не было обособленным, пока тот, кто не знал одиночества, не проглотил своё семя... И думала о матери возлюбленного, перед которой уже не испытывала страха, и его отце, потерявшем его дорогу, и думала о себе, которой сейчас не станет, которой уже не стало, потому что река уносит всё, даже воспоминания о собственном теле, о поте и судороге, о невесомости мышц и тяжести дня, о том, как можно терять друг друга, о том, как можно касаться друг друга...

\*\*\*

Опубликовав текст, автор сам оказывается объектом пристального разглядывания. Соотношений и сопоставлений. Со стороны знакомых, едва знакомых и почти не знакомых. Текст оценивается по многим параметрам, но один из них — соответствие половой принадлежности и анализ сексуальных желаний. «Достоевский и девочка»

— кто из почтенных литературоведов прошёл мимо этой темы? Напишите рассказ — чем реалистичнее, тем лучше — о страстной любви персонажа к козе, и вас заподозрят, пусть даже не всегда скажут о том, в зоофилии. Но если — вожделение к мужчине, женщине, старику, ребёнку, фетишизм или совсем уж невинные забавы, как самоудовлетворение в ночи, — и читатель, испытывающий тоску по неполноте вашего образа, не имеющий возможности немедленно заглянуть в интернет, газету, включить телевизор и узнать о вас всё, чего знать ему вовсе не хочется, но тем не менее, раз уж знакомы, имеем возможность за руку здороваться, позвонить иногда, приобрести автограф, попытается, не для полноты вашего образа, а для сохранения себя, определяющего и понимающего, имена дающего, наложить изысканное в ваших текстах на вас.

«Вы не любите женщин? Так редки в вашем творчестве женские темы». — «Что вы, я их очень люблю!» — Взгляд из осуждающего становится испуганным.

Расхождение между полем автора и «половыми» признаками текста раздражает, если становится известным. Если раздражает слишком долго, требуются объяснения. «Ваши произведения — опыт ваших прошлых воплощений. Вы живёте в последний, двенадцатый раз». Любое объяснение — успокаивает.

«Вы можете написать о самом сокровенном?» — вопрос собрата по литературному цеху, как всегда, обращён в сторону пола.

«Могу. И пишу». Любое сужение кажется смешным.

Догадывается ли автор о своём физиологическом поле тогда, когда увлечённо следует за бегом Каштанки? Насколько значима собственная физиология при острой боли от раздробленных о брусчатку костей Кроткой? Какого пола поэт обретает седьмую твердь — воздух?

Однажды один из убеждённых в литературном сексизме читателей, слушая исполнение диктором своеобраз-

ного попури из стихотворений (имена авторов не назывались), радостно констатировал: «Это писал мужчина! А это — женщина!» Ошибался, как правило, в каждом четвёртом тексте и, как правило, в самых хороших текстах (хотя последнее не обязательно).

Действительно, есть литература, в которой физиологическая принадлежность автора к определённому полу неумело или нарочито проглядывает с первых же строк текста. Либо, наоборот, создаётся иллюзия определённого пола автора (например, в женском романе, в котором принято, чтобы автор был женщиной, поэтому авторы-мужчины используют женские псевдонимы и приёмы подчёркивания пола автора в тексте). До XX века литература, за немногим исключением, — вотчина мужчин и мужского. Особенно если происходит покушение на «традиционные мужские» знаки культуры.

Пол автора текста сопряжён с оценкой текста, иначе может произойти перекосяк в уже читательской сексуальной ориентации. Иначе можно забыть о собственном поле, или вобрать в себя два пола и всю гамму межполовых отношений, или даже стать самодостаточно бесполом, живущим и обретающим пол лишь в течении строк, слов...

Читатель сохраняет свою цельность, обороняясь от текста.

Но и автор вынужден идти на компромисс. У автора тоже есть иллюзия соединения с текстом, который почти его, почти от крови и плоти («Я — Наташа!», «В каждом персонаже есть я», «Из себя сотворил всех», «Поэт — теург, полубог»), и автор чувствует горечь и радость обладания, и автору дозволена иногда мнимая власть созидания, и автор на недолгие мгновения почти владеет словом, даже помня, что сам — его инструмент.

Живущий одновременно в нескольких ипостасях человек — писатель — автор может тешить себя иллюзиями, свойственными его профессии.

Текст сам по себе говорит так много об авторе, что не говорит ничего. Текст каждый раз обманывает время и его кольца, оставляя автора в одиночестве и обособленности.

## ТОСКА ПО СОБАКЕ

Тоска по собаке не есть тоска собственно по собаке. Тоска по собаке, как правило, — попытка заполнить собакой наличие пустоты в душе, отсутствие чего-то необходимого. Душа не самодостаточна, ущербна, и ей требуется восполнение ущербности посредством собаки.

Собака может оживить дом, если в нём лишь один человек, и нет никого более, и дом пуст — страшно, безотраднo пуст вечерами, когда приходится в него возвращаться, ибо нельзя не вернуться, а что может быть хуже, чем возвращение в пустоту, где тебя никто не ждёт, и умело расставленные вещи лишь создают видимость, что тебе здесь хорошо, — это ведь самодостаточной душе не требуется дом как некое строго определённое, очерченное пространство, а ущербной необходимо сознание нужности и огороженного уюта, чтобы дом стал домом.

Иногда собака нужна для утешения гордыни. Гордыня — тоже вид пустоты, но пусто уже не в доме, а в том месте сердца, в котором должна находиться привязанность к другим и способность уважать не только свою жизнь. Если же пустое это место, то только собака может понять своего бедного хозяина, и полюбить его, и простить. А он, проходящий мимо и сквозь людей, как мимо и сквозь призраков, и тайно сжимающийся от постоянного подспудного гнёта вечной своей отделённости и не-

прикаянности, только с собакой может забыть этот ужас, ибо она одна способна утешить его больную душу.

Часто собака обеспечивает защищённость. Она не просто снимает знобящий страх перед тёмным переулком, или стоящим на отшибе домом, или во время прогулки по лесу, или ночёвки в пустой квартире, когда все уехали в отпуск, — она убивает неуверенность, которая гнездится в самом характере, в сути личности, подтачивая её во время важных экзаменов и деловых встреч, при первом знакомстве с родителями возлюбленного или любимой или застольном тосте в полужнакомой компании. Собака словно прививка от собственной несостоятельности, залог преуспеяния, символ успеха.

В некоторых случаях собака — отдушина, глоток свежего воздуха, ломка безумного, замкнутого, регламентированного мира. Строгая городская заданность бытия, тяжесть необходимых, часто лживых отношений, унылая рутина будничных дней сметается единым взмахом преданного и весёлого хвоста, который привык, в общем-то, быть послушным, но в действительности ему на всё и на всех, кроме вас, разумеется, наплевать. И вы тоже заражаетесь его безумным оптимизмом, и учитесь дышать заново и жить, потому что живёте, а не потому что получили зарплату и урвали недорогую колбасу в стометровой очереди, и забываете позвонить шефу, и не делаете тысячу неотложных дел, и разрываете-взрываете рамки этого безотрадного мира, и уходите туда, где хотя бы часок (и этого хватит до следующего отчаяния) вы будете самим собой рядом со своей собакой.

А бывает собака — вещь. Предмет гордости и любования, как китайская ваза или кольцо с бриллиантом. И трудно понять, что важнее для хозяина — собака или многочисленные её грамоты и медали. О каждой грамоте и медали имеется подробный и нудный рассказ, хозяин гордится — и у него, и у его собаки всё в порядке. Его собака не хуже его мебели и под стать его машине. И



собака чувствует свою несчастную роль, и в позе её, и в умном печальном взгляде появляется некая фарфоровость, утешающая хозяина сознанием, что всё идёт так, как нужно, всё в полном ажуре, и никто не заподозрит в нём человека более низкого сословия, каковым он в душе тем не менее является.

Изредка встречаются и собаки-тираны. Этакie любимцы семьи, которых обожают по причине собственной безалаберности и слабоволия, тайной тяги к подчинению и почитанию. Подчиняться человеку как-то унижительно, что ли. Почитать человека — а вдруг изменит или изменится? С собаки и это сойдёт, что взять — собака. А хозяин весь выплеснулся, выложилсЯ да ещё и похвастался, с восторгом показывая соседу подранный любимцем новый сапог.

Несут свою нелёгкую службу собаки-солдаты. Нет, я не о тех, которые на государственной службе, а о тех, которые безропотно терпят тиранство своих хозяев, коим так важно, жизненно необходимо всё время командовать и остаться при этом любимыми своими подчинёнными. Такие собаки часто заменяют детей, не отплативших должной любовью за строгое и назидательное воспитание. Собаки куда благодарнее и снисходительнее.

Случаются и собаки-игрушки. Созданные для забавы, они удовлетворяют ту глубоко спрятанную в каждом взрослом и степенном человеке потребность играть и шалить. Но — неудобно, неловко, нельзя! А с собакой — пожалуйста! И никто не осудит — с собакой же! Поиграть, подурачиться, побыть вновь ребёнком — счастливая возможность, даруемая собакой.

Необычайно мудры бывают собаки — члены семьи. Всех собак называют членами семьи, но в действительности весьма немногие являются ими. Такие собаки много знают и много умеют. Их не тиранят, не заставляют показывать гостям чудеса дрессуры — их уважают. Но им и не поклоняются — их уважают. Словно заключён в

семье некий любовный паритет: мы нужны друг другу, потому что нам хорошо вместе, и мы не будем портить друг другу жизнь. Такая собака всегда рядом, всегда в какой-то мере незаметна и всегда совершенно необходима. С ней хорошо молчать и хорошо разговаривать, великолепно гулять и приятно смотреть телевизор. Она в некотором смысле часть вашего «я», но при этом совершенно самостоятельна и независима. Она не мешает, будучи всегда рядом, но вы знаете цену расставания с ней. Ибо она как раз та собака, которая — друг.

## О-ЛЯ-ЛЯ!

### ГОРЯЧО

Стюард приветствовал на борту самолёта с торжественностью, достойной короля. Он победно взирал на пассажиров, благосклонно кивал головой, и мы чувствовали себя обласканными высшим существом или, что точнее, существом из высших сфер.

Во время долгого перелёта мне предстояло подготовиться к воссоединению Парижа литературного (но вполне реального для меня), возникшего при чтении художественных произведений и мемуаров, путевых заметок и даже — ибо и туда пришлось заглядывать — скучных путеводителей, и Парижа настоящего, но для меня ещё не существующего.

«Hot!» — торжественно сказал стюард, прерывая раздумья, и в руках у меня оказалась горячая влажная салфетка. И далее, так уж было predetermined в этой поездке, всё было «hot»: и солнце над Парижем, и впечатления, и вода из тщательно запрятываемого в гостинице кипятильника, и льдистый ожог мороженого.

## ЗНАКИ

Сначала были знаки.

В получаемом мною журнале оказался вкладыш — Эйфелева башня, открытка-раскладушка, которую можно установить вертикально. Почему-то не выбросила, как всякую рекламу, а поставила на полку. Не прочитав даже или сразу забыв, реклама чего на обороте.

Потом два евро — блестящая монета, попавшая по ошибке в мой дом.

Письма от русских литераторов из Франции.

В течение недели при случайном включении телевизора попадались только французские фильмы и передачи.

Несколько романов современных французских авторов, прочитанные подряд.

Наконец, решающий знак — удод.

Живого удода никогда раньше не видела. И вдруг в городе, в двух кварталах от дома, в траве, рядом с голубем, — яркое хохлатое чудо. Ходит едва ли не под ногами прохожих, то складывает, то разворачивает веером разноцветную корону. Спинка от середины и хвост тоже яркие и пёстрые. Длинным, изогнутым клювом что-то выискивает в земле.

Дней через десять снова была в том районе. Даже не поверила сначала — хохлатый красавец «пасся» примерно там же. Больше я его не видела. Но этот знак оказался решающим. Еду.

## ПАРИЖ И ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР

Париж — город восточный. То есть европейский, конечно, но об этом уже после первых десяти минут по

приезде приходилось себе постоянно напоминать. Повсюду туристов радостно встречают турецкие, арабские, китайские лавочки с привычным болашаковским товаром. Женщин в хиджабах в Париже больше, чем в Алма-Ате. Множество удивительно красивых выходцев из Африки.

Но в основном на улицах Парижа видишь туристов, которых, наверное, по сто человек на одного парижанина, и отличить их легко по озабоченным лицам, то жадно оглядывающимся, то напряжённо рассматривающим карту — непременный атрибут каждого путешественника.

## ЗЛАЧНОЕ МЕСТО

В любой случайности есть закономерность. Ни отель, ни район его расположения выбирать не пришлось — всё само сложилось. Писатель, как и следовало ожидать, оказался на площади Пигаль у подножия Монмартра.

Здесь даже современная реклама, странные карикатурные зазывающие рисунки и надписи на дверях всевозможных заведений секс-услуг не стёрли очарование — детскую изломанность, запечатлённую Тулузом Лотреком. И круглый фонтан на площади по-прежнему уносит все грехи, скапливающиеся в секс-шопах, секс-шоу, секс-дансах, сексодромах... Из трёх дверей одна зовёт к девочкам, которые восседают на высоких барных стульях и кокетливо покачивают ножками с непомерно высокими каблуками; вторая — в магазин товаров для разнообразных сексуальных утех; третья — в отель. Улицы разбегаются лучами, и в каждом лучике всё тот же набор: секс-шоп, секс-шоу, отель.

У площади Пигаль сходятся два бульвара: бульвар де Клиши и бульвар де Роше. Бульвар де Клиши ведёт к Мулен Руж, и вечерами здесь собирается нарядно одетая

толпа, перегораживает тротуар, бегают служители, пытаясь провести через очередь возвращающихся в отели прохожих.

Красные лопасти мельницы Мулен Руж медленно вертятся, затягивая в лонообразный вход. Мулен Руж — привычный обман. В Париже постоянно заходишь в маленькое помещение и обнаруживаешь внутри незаметное с улицы просторное помещение. Да и лифт спешит унести вверх или вниз на немереное количество этажей.

Многие туристы испытывают двойное разочарование-удивление: места прославленные оказываются очень малы. Или вообще малы. Как Мулен Руж или Мона Лиза. И ёмкость их обнаруживается далеко не сразу.

## РЕЧЬ

Любимое французское слово — «о-ля-ля». Его чаще всего слышишь на улице. Особенно в разговоре мам и детей.

Париж — город близнецов. Нигде не видела больше сдвоенных колясок и похожих друг на друга детишек всех возрастов. Так что не только в «о-ля-ля» двоятся слоги — всё во Франции стремится к неременному удвоению: и арки, и фасад собора Нотр-Дам, и дворцы (где гранд, там и петит)...

Следующие по частоте употребления слова — «пardon», «мерси», «вуаля». Поэтому говорить по-французски довольно легко. Куда сложнее — понять, что слышишь в ответ. Попытки бесед по-английски, как правило, заканчивались одинаково: мой собеседник всё понимал и с горячей готовностью помочь начинал отвечать на вопрос. Минут пятнадцать — двадцать. Иногда дольше. Естественно, по-французски.

Говорят во Франции негромко. Даже мобильным телефонам не дозволено мелодиями прерывать голос города — лишь робкое, едва слышимое «пи-пи-пи».

## РУССКИЕ

По дороге неторопливо трусила небольшая лохматая собака. За ней с трудом попевала грузная пожилая дама. Она что-то требовательно и безостановочно говорила, призывая собаку — из быстрой французской речи я улавливала только имя пса — немедленно вернуться. Но пёсик продолжал свой путь, снисходительно разрешая своей хозяйке (а куда она денется?) следовать за собой. И когда дама совершенно задохнулась от быстрой ходьбы и остановилась, я вдруг услышала её спокойное и громкое: «Да стой ты, я тебе сказала!»

Русскую речь в Париже слышишь постоянно. (Чаще только китайскую.) И от парижан, и от туристов.

Вдоль бульвара де Клиши шли, оживлённо разговаривая, четыре дамы средних лет. Остановились возле кафе, ряд столиков которого стоял на тротуаре. Одна из дам, тщательно произнося слова, спросила ужинающую французскую чету: «Pardon, madame, monsieur, Moulin Rouge where?»<sup>1</sup> И тут же получила пространное объяснение. «Merci, merci!»<sup>2</sup> — на всякий случай дважды сказала дама и тут же добавила, обратившись к своим спутницам: — Вот буржуи, совсем обленились, сидят в кафе, дома уже и готовить не хотят. И наговорили, наговорили неизвестно чего. Куда теперь идти?»

Пришлось подойти и объяснить. Правда, только дорогу к Мулен Руж.

---

1 «Извините, мадам, месье, где Мулен Руж?» (франц.)

2 «Спасибо, спасибо!» (франц.)

## ПАРИЖАНКИ

О французских женщинах писать принято. О чём угодно можно забыть упомянуть, но только не о женщинах Франции. Это было бы вопиющим нарушением традиции, в которой нет более загадочного, опасного, необыкновенного существа, чем французская женщина.

В Париже очень зримо заметны два периода существования женщины: до семи вечера и после.

Днём парижанка быстра и деловита. Одета просто и неброско. Всегда — в блёклых тонах. Любимые цвета — все оттенки от серого до чёрного, болотный, сизый. Изредка можно встретить белую юбку или кофту. Туфли на нулевом каблучке. Максимальная простота и непритязательность во всём.

Вечерние сумерки приподнимают парижанку над бытом на каблучке, наряды становятся изысканными, украшения — дорогими. Макияж «под натуральный» сменяет другой, более яркий и выразительный. Жизнь, строго подчинённая этикету, и здесь диктует свои правила. Возможно, в этом умении меняться и изменяться, в этом нарочитом непостоянстве и есть один из секретов обаяния француженок.

Совсем иное дело — деловые леди. Они, наверное, одинаково выглядят, говорят и ведут себя во всех странах.

## СОБАКИ

Парижане любят собак. Во время обязательного утреннего и вечернего променада с любимцем на поводке непонятно, кто кого вывел на прогулку: горделиво



взирающий на своего питомца хозяин или его уверенно идущий впереди крошечный пёсик.

Собаки в Париже в основном маленькие. Пудели, боксёрчики, всевозможные китайские собачки и ещё неизвестные мне породы. Большинство из них вызывает немедленную рефлекторную улыбку. Хозяин, замечая, как прохожий взирает на его главного члена семьи, тоже начинает улыбаться. Солидарность любителей собак во всём мире незыблема!

Лишь пару раз удалось увидеть больших собак. Наверное, их хозяева живут в столь просторных апартаментах, в которых даже догу найдётся место.

И ни разу не встретила бродячая собака.

## ТУАЛЕТЫ

Триумф цивилизации — общественные туалеты на улицах Парижа. Округлые, поблёскивающие металлом, как спасательные капсулы космического корабля. Достаточно опустить десять центов — и дверь сдвинется в сторону, открывая весьма удобно оборудованное пространство. Всё для того, чтобы вы могли, не отвлекаясь, продолжать своё путешествие по городу.

Правда, первое знакомство с парижским туалетом невольно, не по моей вине, принесло неприятности другому, ничего дурного мне не сделавшему человеку.

После тщательного осмотра туалета снаружи и чтения инструкции на его стене десятицентовая монета была опущена в уготованную для неё щель. Туалет не открылся. Попробовала нажать на ручку второй раз. Туалет не открылся. И монету не отдавал. Потолкала дверь — не открылся. Мимо проходил, по-видимому, возвращаясь с работы, французский пролетарий. Увидев, как парижский туалет обижает туриста и присваивает его честным тру-

дом заработанные деньги, рабочий возмутился, подошёл к туалету, точно так же несколько раз нажал на ручку и подёргал дверь, после чего очень темпераментно, размахивая руками, высказал туалету всё, что он о нём думает. Туалет не открылся. Тогда незнакомый мне месье стал бить туалет кулаками, пинать его то носком, то пяткой. Туалет не открылся. Я отошла подальше на тот случай, если сейчас приедет полиция и обвинит нас в групповом нападении на туалет. Полиция не приехала, туалет не открылся, а энергия рабочего иссякла. Высказав что-то напоследок и плюнув на оскорбивший недостойным поведением честь Франции туалет, он ушёл.

Я тоже отправилась дальше, но вдруг отчётливо услышала сзади щелчок. Обернулась. Дверь открылась, из неё вышел заспанный и недовольный мужчина, затем аккуратно вытащил из туалета пять огромных чемоданов. Уму непостижимо, каким образом они все там поместились!

## ДВЕРИ

О, как много обещают, перекрывают, ограждают двери Парижа! Высокие, по три метра и более, с тяжёлыми ручками для стука, с барельефами вокруг, кариатидами по бокам... То металлические шары таятся по углам, то пирамидки. То удивительной красоты решётки закрывают их, то вдруг обнаруживается прорезь смотрового окна.

Это ничего, что все они на современных кодовых замках. И ничего, что французские дома с домофонами напоминают крепость, в которой не ждут непрошенных гостей. Двери Парижа — воплощённая поэзия, которая обещает, но не всегда впускает.

## КАРТОГРАФИЯ

В Париже легко заблудиться. Но только не алматинцу. Наивный турист из других мест, разглядывая карту и сравнивая её с реальным городом, обнаруживает, что площадь — это далеко не всегда большое, открытое, обустроенное пространство, потому что не только площадь Инвалидов, площадь Конкорд носят гордое название площадей, но даже самый маленький перекрёсток. Как только сбегаются вместе несколько улиц, так и площадь.

«Перекрёсток» говорить, конечно, неправильно. Потому что никогда не соединяются вместе две улицы. Минимум шесть. А то и восемь, десять... И если нужно с площади де Клиши свернуть на улицу д'Амстердам, то сначала желательно обойти все десять расходящихся от неё под разными углами улиц.

Многие улицы Парижа, кстати, со знакомыми названиями: Санкт-Петербург, Сталинград, Москва.

После блужданий по площадям и безнадёжных попыток понять, как не заблудиться в этом городе да ещё и нужное найти, обнаружила очень простой и привычный принцип: в Париже, как и в Алма-Ате, есть верх и низ. Верх — к Монмартру, у подножия которого мы и жили. Вниз — к острову Сите и далее.

## НОТР-ДАМ

Казалось, некая сверхъестественная сила удерживает над головой стекающие с неба своды. Где-то там, наверху, от точки соединения каменных лучей тянулась вверх невидимая нить, по которой слова отсюда, снизу, из полумрака, должны уйти наверх, к Тому, к Кому были

обращены, к Тому, Которого молили. Казалось, можно услышать Его Слово, и уж точно чувствовался Его скорбный, обращённый сверху взгляд.

Яркие витражи, в цветовой гамме которых нестерпимо резок, пронзителен лазурно-голубой, подготавливали к ощущению того, что скрывается за истинной красотой и истинной верой. В тёмных нишах вдоль стен неподвижно застыли статуи святых, перед каждой — свечи, свечи, свечи. Напротив, на стене, — почти неразличимая в мерцании слабых огней картина.

Красота и панический ужас сливаются воедино, и то, и другое может существовать в человеке, и то, и другое — за его пределами.

Началась служба, хрупкий тенор запел, немногочисленные прихожане крестились, опускались на колени, привычно не замечая осторожно проходящих между рядами туристов, которых было много больше и которые, жадно оглядываясь по сторонам, искренне старались не мешать.

Собор огромный, его знакомый по фотографиям фасад с двумя симметричными башнями не подготавливает к лицезрению его сбоку, сзади. Пройдя ряды, сотни и сотни химер, вдруг с той, обратной стороны оказываешься перед удивительным соединением арок и переходов. И сквер. И стела фонтана. И парящая почти в небе статуя Богоматери с младенцем.

Параллельно Нотр-Даму стоит дом. Живущие в нём люди ежедневно смотрят на возвышающийся рядом — через дорогу — собор.

## ПАРКИ

Парки и скверы Парижа — образец максимальной окультуренности природы. Ландшафт полностью подчи-

нён замыслу создателя парка. Каждое дерево, куст, цветок в том месте, в котором они максимально ласкают глаз. Будь это Версальские сады, которые по замыслу их архитектора должны тянуться бесконечно и сливаться с горизонтом, или небольшие скверики, разбитые, как правило, у каждого собора. Природа не подчинена человеку — она стала просто материалом, как звук или слово, краски или камень, для сотворчества красоте бытия.

Я привыкла к другому восприятию природы, когда она постоянно напоминает о величии всего живого во Вселенной и поражает своим многообразием и буйством форм. Горы прорываются в наш человеческий мир и напоминают о том, что находится за его пределами. Реки беспокойны. Деревья вольны и живут своей, почти не управляемой нами жизнью.

Всё иначе в Париже, где траву встретишь только в сквере, где земля скована брусчаткой, где даже возле каждого дерева она засыпана гравием или спрятана под железным решётчатым кольцом вокруг ствола.

Упорядоченность, с которой встречаешься ежедневно, всё продумано и просчитано до мелочей: дорожки для пешеходов, дорожки для велосипедистов, столбики для парковки мотоциклов, столбики для парковки велосипедов, разметка улиц и прочее, прочее, прочее. Не является ли эта упорядоченность и этот максимальный комфорт одной из причин постоянных забастовок и бунтов французской молодёжи, в крови которой живёт неукротимый дух всех вольнодумцев Франции?

## ЛУВР

В Лувре я обнаружила свою полную неспособность ходить по музеям. Поэтому в Лувре я, можно сказать, не была. За два посещения (каждое часов по пять-шесть)

обошла два отдела: египетской древности и итальянской живописи. Была бы возможность — прошлась бы по ним ещё и ещё раз.

Потому что ускользают, исчезают творения сотен мастеров, требуя погружения длительного, потому что иначе смешение эпох и стилей, цвета и форм грозит превратить воспоминания в цветной каталог, набор иллюстраций.

В Лувре я заблудилась. Вновь и вновь заходила в средневековый замок и, куда бы ни шла потом, снова попадала в каменные стены...

Но и бродя по обустроенным выставочным залам, в которых все ходы и выходы не для туристов были заботливо закрыты, я вдруг увидела тёмный проход, ведущий в узкий, длинный — конца не видно — коридор. Заглянула. Потянуло холодом, тайнами королевских замков, скрытыми переходами и комнатами и даже сетью протянутых под всем Парижем катакомб. Неудержимо захотелось зайти, отправиться по этому таинственному пути, хранящему, быть может, душу Лувра.

## НАШЕСТВИЕ НОМАДОВ

В кассе супермаркета, расплачиваясь за продукты, я протянула платёжную карточку.

— Покажите, пожалуйста, паспорт, — сказал кассир.

Я удивилась. До сих пор у меня не спрашивали паспорт ни в аэропорту, ни в гостинице. И вдруг — в продовольственном магазине, кассир.

— Зачем вам мой паспорт? — спросила я.

Кассир протянул назад мою «Визу», словно это всё объясняло, затем сказал:

— Здесь написано «Казахстан», а такой страны нет.

Пришлось показывать паспорт. Внимательно посмотрев, кассир удивлённо признался:

— Странно, но и тут написано «Казахстан»!

И только после этого снизошёл до использования моей карточки.

В день отъезда в гостинице ко мне подошла милая дама, работающая на ресепшн. С восторженным удивлением она сказала:

— У нас никто никогда не останавливался из Казахстана. И со вчерашнего вечера — второй гость. В комнате рядом с вами — мадам Асель из Казахстана.

Я обрадовалась. Надеюсь, теперь и моя страна проявилась на французских картах.

## МОЙ НЕЗНАКОМЫЙ ПАРИЖ

Увидеть и... Но я так и не увидела тебя, не узнала, прекрасный город. Я не была в музее д'Орсе и в Пантеоне, не была в большинстве залов Лувра, не зашла в Сен-Сюльпис, не положила цветы на могилы Пер-Лашеза, не погуляла по саду Тюильри, не посмотрела шоу в Мулен Руж, не отстояла службу в Сакре-Кёр, не съездила в Булонский лес, не походила по магазинам знаменитых домов моды, не ела мидий и каштанов и даже не совершила паломничество всех туристов на Эйфелеву башню. И из двух тысяч твоих музеев мне осталось посетить одну тысячу девятьсот девяносто семь.

Я не знаю, доведётся ли когда-нибудь вновь гулять по твоим улицам, мой незнакомый город. И идти по мостовой, ещё хранящей следы Мольера, и рассматривать решётки, которые порой задевала шпага д'Артаньяна, и стоять под сводами страданий Квазимодо, и молчать в изумлении у росписи, слышавшей монолога Расина, и

избавляться от тошноты сточных запахов упорядоченного быта под хрипловатое пение женского голоса, и деконструировать представление о мире, и вновь собирать из элементарных частиц твоё незыблемое целое.

Но, радушный и равнодушный, ты невольно стал частью и моей памяти, и жизни.



## БОЧКА ДИОГЕНА

Что мы знаем о Диогене? Немного. Вспоминая греческого философа, мы прежде всего восстанавливаем в зыбкой памяти не его учение, а анекдоты его жизни. Из коих наиболее известны два — о Бочке и Александре. С последним, впрочем, связано ещё одно немаловажное понятие — Солнце. И каковы бы ни были философские концепции Диогена, а также порождённые ими в более поздние времена звуки и отзвуки, всё это сосредоточено вокруг трёх основных понятий, трёх столпов мира, трёх основ Диогена и человечества: Солнца, Александра и Бочки.

### ДИОГЕН И СОЛНЦЕ

Воздух был для Диогена тем началом, из которого появилась Вселенная. Сжижение и разрежение воздуха привели к образованию космосов, различных миров иначе. Пустота бесконечна, в ней множество (если не сказать бесчисленное множество) миров космосов. Наиболее сгущённый воздух образует землю. Такой воздух тяжёл, неподвижен. Наиболее разреженный воздух поднимается вверх, стремится к высоте, а самые лёгкие его частицы образуют солнце. Такова космогония Дио-

гена: в ней ничто не появляется из ничего и ничто не уходит в ничего — в ней всё плавно перетекает из одного в другое.

Воздух суть мировое начало, энергия, составная часть всех вещей. Однако он одухотворён, обладает некой душой и сознанием. Наиболее проявляется его духовная сущность там, где он наиболее разрежен, лёгок, летуч. Там, где его материальная форма наиболее эфирна.

Самый лёгкий воздух — солнце, для Диогена, по крайней мере. И потому отодвигает он гордого Александра, отодвигает его тень, его славу. Мыслящий эфир рассеян повсюду, но Диоген смотрит в его средоточие — солнце, туда, где должна была бы, будучи он приверженцем этой идеи, обитать мировая душа или всесущий Логос.

Что Александр перед этим?

Философия — любовь к мудрости, к Логосу, к истине — в её отвлеченности от всего неистинного вокруг. Предугадавший многие физические законы космоса, хотя порой и называя их иначе, Диоген демонстрировал истинное созерцание, отвлечённость от всего суетного. Солнце — знак вечности. Дотянуться ли до него Александру?

В последующие тысячелетия в европейской культуре множество раз провозглашалась направленность лишь на вечное. Экстатический Экхарт, ведущий от первых христиан традицию соединения символа солнца с сущностью Бога, не только продолжал библейскую символику света, но и вольно или невольно перекликался с многочисленными масонами, розенкрейцерами, алхимиками, герменевтами, ищущими духовное солнце в душе каждого.

Смотрите на солнце, дабы увидеть свет, который как тьма, после которого глаза теряют способность воспринимать что-либо ещё в этом мире. Смотрите на солнце,

чтобы перестать видеть сгустки материи, предметы и вещи, весь материальный мир. Максимальное духовное зрение сопровождается полной слепотой ко всему тому, что находится внизу, на тёмном сгустке земли.

В этом свете не видна слава Александра, не важна слава Александра, которая всего лишь тень, затмевающая лучи света.

Вся философия последующих веков оказывалась перед этой дилеммой оторванности или приближённости к материальному миру. Все идеологии пытались, увидев солнце, испепелить мешающий мир вокруг.

«Отойди, ты закрываешь мне солнце» — для Диогена на солнце действительно нужно смотреть, то есть предпринимать чисто физическое действие. Мудрец Востока, скорее всего, и вовсе не заметил бы тень Александра. Но заметил бы тогда Александр мудреца? И насколько хорошо или насколько опасно, когда видят друг друга властитель и философ?

## ДИОГЕН И АЛЕКСАНДР

У всякой власти есть ущербная сторона — её временность. Самый великий правитель смертен, даже в тех случаях, когда пытается обмануть гостью с косою, обойти её стороной, пролезть в узкую щель бессмертия.

Египетские фараоны были богами — они не умирали, а уходили на небо, чтобы снова вернуться в другой, человеческой ипостаси. Прошли тысячелетия, но уже в XX веке Мао Дзэдун, а за ним Ким Ир Сен объявили себя богами на земле, то есть бессмертными.

Власть пытается создать хотя бы иллюзию бессмертия: пирамиды и храмы, новые города, империи, войны — всё это должно оставить в памяти имя правителя, даже если это будет слава Герострата.

Представители власти — шоумены, для которых успех у публики (известность добрая или скандальная) важнее всего. И поэтому власть ведёт себя как хороший актёр, озабоченный собственным продвижением: портреты, памятники, плакаты, бесконечные упоминания в СМИ. Политик существует, если его знают. В японской философии считалось, что человек должен скрывать своё лицо: чужие взгляды, пробегающие по лицу человека, постепенно стирают его личностные черты, уничтожают божественную сущность. В таком случае политик (как и актёр) — тот, кто не существует, не существует уже как личность, ибо от миллионов взглядов лицо его затёрто до дыры, пустоты, полного ускользания. Политик не человек, но тень человека, знак власти, сама власть, которая, несмотря на потуги, всё равно временна. И поэтому Диоген не видит Александра, а видит лишь его тень, закрывающую солнце. И поэтому Александр говорит, что если бы не был Александром, хотел бы стать Диогеном, иначе, если бы не имел реальную власть в пространстве, хотел бы созерцать вечность.

Диоген и Александр — проблема извечная. Должен ли мудрец разговаривать с властью и зависеть от неё? Должна ли власть замечать мудреца? После Диогена много раз пытались решить эту проблему, порою мудрец становился властью и разрывал этим связь с вечностью, порою власть покупала и уничтожала мудреца.

Александр не может обойтись без Диогена — это его запасной вариант, его надежда, его «если бы».

Диоген должен быть замечен Александром. Потому что именно тогда мудрец становится мудрецом для всех. Быть замеченным властью — проблема не личная, а общественная. Мудрость, наблюдение солнца — духовный выбор каждого человека в отдельности. Когда власть замечает мудреца (хваля его, подкармливая его или убивая) — это выбор социума, признание мудрости, признание солнца, в конце концов.

Тень Александра отодвинута Диогеном. Тень Диогена оставлена на века.

## ДИОГЕН И БОЧКА

Как зависим даже самый свободный человек! Диоген, обитающий в бочке, в чём бы ты жил, если бы довелось тебе родиться не в тёплой и ласковой Греции, а посевнее, где даже самая крепкая бочка не могла защитить от холода.

Но Диоген мог быть лишь в Греции, а бочка защищала от дождя, а не от снега, и была тем минимумом, который необходим для сгущения воздуха и сознания, называемого телом.

Скорее всего, это была бочка из-под вина или оливкового масла. Возможно, она хранила аромат бывших в ней продуктов, возможно, морской ветер выдул из неё все запахи и пропитал солью.

Может ли быть большее отрицание значимости материального мира, чем эта бочка?

Минимум, нужный Диогену для жизни, стал бочкой. Через два тысячелетия Кобо Абэ напишет о человеке, сросшемся со ставшим его домом ящиком. Человек-ящик — мутант, для которого материальной мир не исчез, а всего лишь сузился и стал даже более значимым, ибо стал его неотъемлемой частью. Но человек-ящик жил в холодном мире, холодном во всех отношениях, ему недоступна была родина богов — Греция.

Для Диогена же бочка — всего лишь знак отрицания. Бочка создана человеком, является частью его культурного пространства, которое Диоген опустошает, опрокидывает, кладёт на бок.

Что же тогда культура для Диогена? Какова значимость человеческой деятельности, не связанной с чисто духовными упражнениями?

Бочка могла обойтись без Диогена — Диоген без бочки не смог. Для него бочка оказалась средством манифестации образа жизни философа. И у мудреца появилась ещё одна обязанность: не только мыслить как мудрец, но и жить как мудрец.

Мудрость должна быть действенна. Но, будучи действенной, мудрость уподобляется всему остальному зримому миру. Мудрец становится в глазах других людей таким же актёром, как и политик, только актёром, играющим роль мудреца. Должна ли быть жизнь человека посвящена и уподоблена его творчеству? Ещё одна проблема, заставляющая одних уходить в пустыню, других — проводить лето в аду, третьих — искать мистические откровения в земной любви. При соединении жизни и творчества жизнь, как правило, проигрывает.

Диоген поступил хитрее: он выставил вперёд бочку. Прикрылся ею от всех возможных и невозможных взглядов. Сросся с нею в истории. Бочка не осталась в накладе. Достаточно сказать «Диоген» — как тут же рядом обнаруживается и бочка. Тоже, в конце концов, сгусток воздуха, наделённый сознанием. Возможно, Диогена.

И это вечное трио: Солнце — Александр — Бочка, — всё длится в нашей истории, и для каждого его члена находится место, и все мы втянуты в бесконечное выявление вершины треугольника: Бочка, Александр, Солнце...

Быть может, стать Диогеном?

## РАЗВИЛКА

*«Выходя из дому, наденьте плащ, любой: из прорезиненной ткани, полиэтилена, сплетённого тростника — чего угодно, лишь бы защитил вас от неожиданного дождя. Впрочем, если говорить откровенно, плащ вряд ли спасёт, если вместо робко капающего с неба душа, или частой водяной дроби, или тропического ливня на вас обрушится настоящий ураган, со шквалистым ветром, который, очищая вас до самого ранимого, нежного, того, что и тронуть нельзя, не оставив отпечатка, сдерёт поочерёдно все слои защиты, все семь покровов.*

*Не забудьте, что в пути вас подстерегает две опасности — пропасти и чужие взгляды. Пропасти открываются всюду, куда только может ступить ваша нога. Они подкрадываются незаметно, маскируются под тень на земле, удобное для кратковременного отдыха брёвнышко вдоль дороги, лёгкую поначалу головную боль и ночное сердцебиение... А от чужих взглядов и вовсе не спрячешься, они повсюду: требовательные, любопытные, ищущие, жирные и липкие, обволакивают, обхватывают со всех сторон, ничего не пропуская, и от скользкого их следа начинает нарастать лишайник, слой за слоем, бугор за бугром — и вот уже*

*вас не видно, лишь комковатое чудовище, по которому рыщут и рыщут чужие взоры.*

*Никогда не берите с собой ничего большего, чем можно унести на мизинце левой руки: всё равно отберут, ограбят. Лучше отвечать «нет» с чистым сердцем, иначе, подав однажды, вы окажетесь среди сотен протянутых рук, и никто вам уже не поверит, что хоть хлебную крошечку сами рады бы получить.*

*Всегда помните направление. Можно цель забыть, можно вообще не знать, куда идёте и для чего, но направление — единственный шанс уцелеть. Бойтесь с юга свернуть на север или с востока — на запад, а если вдруг покажется, что ваше направление ложно, — не поворачивайте, а просто садитесь на землю и сидите до тех пор, пока не обернётся вокруг оси Земной шар, и всё можно начать.*

*Не бойтесь вовремя уходить — тогда не забудут».*

*Диего Мария Гомес*

Июнь 2001 года в Алма-Ате выдался необычайно жарким. Тридцатипятиградусная жара держалась более двух недель. Солнце пекло кожу так, что казалось, она стягивается. В закрытом помещении уже через две минуты все покрывались мерзким потом, и не хватало воздуха.

И в это же время проходили занятия «Мастер-класса» для писателей регионов Казахстана. Девять человек в духоте, жаре да ещё, кроме того, подогреваемые изнутри тридцатидевятиградусной гриппозной температурой и крайним возбуждением от всего случившегося, увиденного, услышанного.

Мы все выдерживали насыщенный ритм этих двух недель исключительным усилием воли, каждый день с девяти до восьми, собранные и улыбающиеся, бегающие к воде через каждый час, чтобы освежиться и по-прежнему



му поддерживать невероятный темп занятий, старающиеся уделить внимание каждому: человеку, слову, тексту, — мы все в глубине души боялись, что не выдержим, что всё пойдёт не так, всё закончится полным провалом.

На девятый день один из наших гостей, улучив минуту, подошёл, когда все уже вышли, ко мне, спросил с напряжённым недоумением: «Скажите откровенно, зачем вам всё это нужно?»

Я почувствовала, что его давно уже тревожит этот вопрос, что он напряжённо подбирает варианты ответа: конечно, деньги, конечно, чей-то заказ, а может быть, форма безумия? Он искал ответ, потому что нечто выходило за рамки его, существующего в литературной среде уже много лет, привычного и обыденного.

Когда я была студенткой, один мой преподаватель, самый блестящий, остроумный да и просто умный из всех, с кем мне довелось встретиться в alma mater, прочитав мой рассказ, сказал: «Куда вы лезете? Литература — это ванна с грязной водой, небольшая ванна, в которую, выпихивая друг друга, кусаясь и царапаясь, лезет сто человек. У вас хватит сил толкаться?»

Не хватило. Мой друг пробивал дорогу на литературный олимп через СП, редакции журналов, КГБ. Он носил едким тонким дамам в редакциях шампанское и конфеты, был мальчиком на побегушках у степенных секретарей СП, заседал на слётах молодых писателей... Он опубликовался почти во всех советских журналах, он издал свои книги десять лет назад, он утонул в наркотическом дурмане, после того как утратил способность писать, сказав, возможно, в виде своеобразного завещания: «Ты сказала, что предпочтёшь молчание, и смогла молчать пятнадцать лет. Я тебе завидую. Но, умоляю, теперь думай только о себе, только о себе, иначе можешь опоздать».

Пообещала. Не смогла. Подвела математическая градация: 50% — туда, 50% — сюда, или 20% и 80%, или...

Душным июньским летом я не ответила вопрошающему высокопарными фразами о нужности и полезности, в которых, конечно, была часть правды, и ничего не сказала ему о чистой воде не стеснённой границами ванны и, уж конечно, о той боли за несовершенство мира, о том восхищении красотой мира, которые и заставляют писать, писать, писать.

Где-то вверху, за маревом солнца и границами жизни, скрывалось то, что делало бесполезным, бессмысленным и ненужным всю суету и усилия, и мои в том числе. И я, клятвопреступница, не сдержавшая слова, не остановившаяся вовремя, не извлёкшая уроков из работы в вузе и изгнания всей кафедральной толпой, из бессонных ночей за формальными бумажками, — не смогла ответить.

*«На твоём пути будут встречаться развилки. Не торопись сворачивать налево или направо, не обращай внимания на подталкивания сзади и сбоку, на указатели, а более всего на то, чего от тебя ждут. Ждут, что пойдёшь по дороге, раз ты шёл по дороге, ждут, что ты будешь сеять хлеб, раз ты сеял хлеб, ждут, что подашь нищему кусочек лепёшки, раз ты подавал кусочек лепёшки, ждут, что пойдёшь туда, куда шёл: к тебе привыкли. Забудь о дороге. Но помни — смерть сокроет твой путь и его направление».*

*Диего Мария Гомес*



Подписано в печать. 02.03.2023 г. Тираж 200 экз.  
Формат изд. 60x84/16. Объем 14 усл. печ. л.  
Отпечатано в типографии «ИП Волкова Е.В.»  
г. Алматы, пр. Райымбека 212/1. Тел.: 330-03-12, 330-03-13